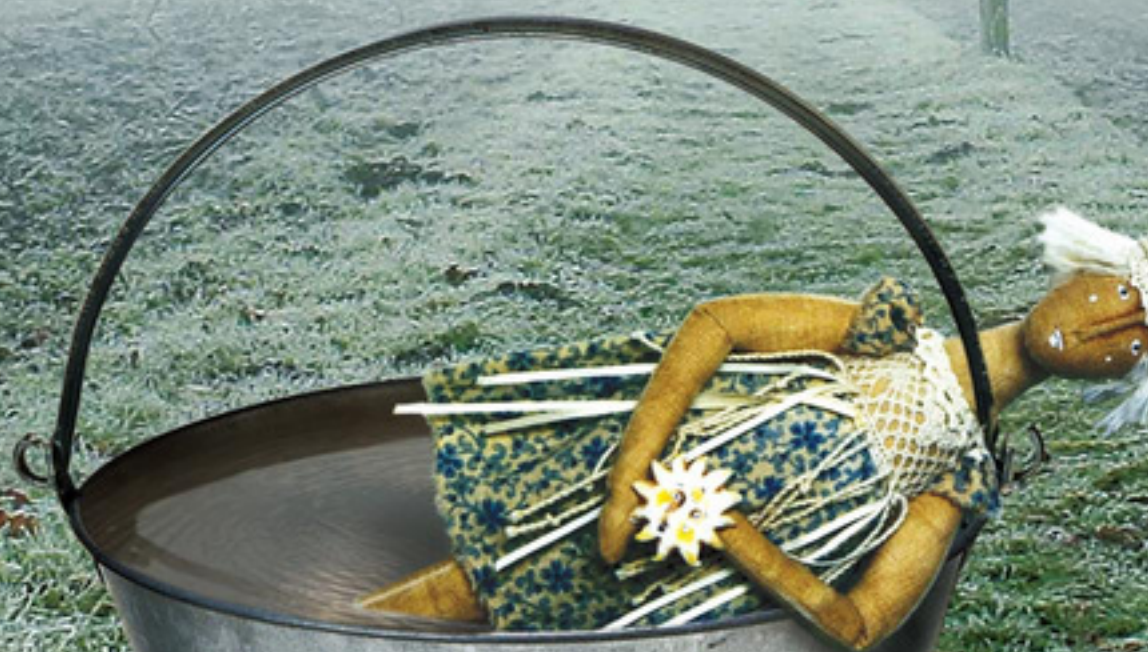


ЗАРУБЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ

ХИЗЕР ГУДЕНКАУФ



ТО, ЧТО
СКРЫТО



РОМАН ВОШЕЛ В СПИСОК БЕСТСЕЛЛЕРОВ

Хизер Гуденкауф То, что скрыто

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3298025

То, что скрыто: ЗАО Издательство Центрполиграф; М.; 2012

ISBN 978-5-227-05298-8, 978-5-227-02941-6

Аннотация

Эллисон Гленн освобождают из тюрьмы, где она отсидела пять лет за убийство. В прошлом она – гордость родителей и всего городка, а ныне бывшая заключенная. И это клеймо не позволяет ей снова вписаться в общество. Трагическое, поистине душераздирающее повествование ведется от лица четырех женщин, так или иначе причастных к преступлению, тайну которого читатель узнаёт постепенно, вплоть до самой последней страницы.

Содержание

Эллисон	4
Бринн	8
Эллисон	11
Бринн	15
Эллисон	17
Клэр	19
Чарм	22
Клэр	26
Чарм	27
Бринн	28
Эллисон	30
Клэр	35
Бринн	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Хизер Гуденкауф То, что скрыто

Эллисон

Увидев идущую ко мне Девин Кинелли, я встаю. Она, как всегда, одета безупречно. В сшитом на заказ сером костюме, туфлях на высоких каблуках, звонко цокающих по кафельному полу. С глубоким вздохом я беру сумку, в которой лежат мои немногочисленные пожитки.

Девин приехала, чтобы, согласно постановлению суда, увезти меня в Линден-Фоллс, в так называемый «дом на полдороге» – учреждение для реабилитации заключенных, отбывших наказание. В «доме на полдороге» мне предстоит провести следующие полгода. Я должна доказать, что способна о себе позаботиться, могу устроиться на постоянную работу и не попасть в неприятности. Через пять лет я покидаю Крейвенвилль. Я с надеждой смотрю за спину Девин, отыскивая взглядом родителей, хотя заранее знаю, что их нет.

– Здравствуй, Эллисон! – улыбается Девин. – Ты готова к отъезду?

– Да, готова, – отвечаю я, хотя на самом деле никакой уверенности не чувствую. Мне придется жить на новом месте, где я никогда раньше не бывала, общаться с людьми, которых совсем не знаю.

У меня нет ни денег, ни работы, ни друзей. Родные от меня отказались. И все-таки я готова. Иначе и быть не может.

Девин сжимает мне руку и заглядывает в глаза:

– Все будет хорошо, слышишь?

Я сглатываю слюну и киваю. Впервые после того, как я услышала свой приговор – десять лет, – мои глаза наполняются слезами.

– Никто не говорит, что тебе будет просто, – продолжает Девин, обнимая меня за плечи.

Я выше ее на целую голову. Девин маленькая, голос у нее тихий, но в суде она умеет задать противникам жару. Мне в Девин многое нравится, и ее характер в том числе. Со дня нашего знакомства она пообещала, что сделает для меня все, что может, и слово свое сдержала. Мне она то и дело напоминала: хотя гонорар ей платят мои родители, ее подзащитная – я. Кажется, она единственный человек на свете, который способен поставить моих родителей на место. Во время нашей второй встречи с Девин (в первый раз мы с ней увиделись, когда я лежала в больнице) мы вчетвером сидели вокруг стола в небольшом конференц-зале окружной тюрьмы. Мама, как всегда, пыталась всеми руководить. Она не могла смириться с тем, что меня арестовали, думала, что произошла ужасная ошибка, хотела, чтобы я предстала перед судом, признала себя невиновной, защищалась. Обелила фамилию Гленн.

– Послушайте меня, – тихо, но холодно обратилась Девин к матери. – Улики против Эллисон неопровержимы. Если мы предстанем перед судом, скорее всего, ее осудят на очень большой срок... может быть, даже пожизненно.

– Все не может быть так, как они говорят! – Мамина холодность могла посоперничать с холодностью Девин. – Необходимо все прояснить. Эллисон вернется домой, закончит школу, поступит в колледж! – Безупречно накрашенное лицо мамы дрожало от гнева, руки тряслись.

Отец, консультант по финансовым вопросам, в тот день, в субботу, не пошел на службу – редкий случай! Вдруг он вскочил с места и грохнул по столу стаканом с водой.

– Мы наняли вас для того, чтобы вы вытащили Эллисон! – закричал он. – Так делайте свое дело!

Я сжалась в комок и очень удивилась, заметив, что Девин несколько не боится.

Девин же, как ни в чем не бывало, положила ладони на столешницу, расправила плечи, вскинула подбородок и ответила:

– Мое дело – изучить все представленные материалы, рассмотреть все варианты развития событий и помочь Эллисон выбрать наилучший!

– Вариант может быть только один. – Отец поднес толстый длинный палец почти к самому носу Девин. – Эллисон должна вернуться домой!

– Ричард, – предостерегла его мать своим невозмутимым тоном, от которого можно было сойти с ума.

Девин не шелохнулась.

– Если вы сию секунду не уберете палец от моего лица, можете с ним попрощаться.

Отец медленно убрал руку; от негодования его затрясло.

– Мое дело, – повторила Девин, глядя отцу прямо в глаза, – изучить все обстоятельства и выбрать наилучшую стратегию для защиты. Прокурор хочет перевести Эллисон из суда по делам несовершеннолетних в суд для взрослых, где ей предъявят обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Если Эллисон выйдет на процесс, остаток жизни она проведет за решеткой. Гарантирую!

Отец закрыл лицо руками и заплакал. Мать опустила голову и нахмурилась в замешательстве.

Судья показался мне очень похожим на школьного учителя физики. Хотя Девин заранее подготовила меня к слушанию, объяснила, чего ожидать, я услышала лишь два слова: «Десять лет». В то время десять лет для меня были равнозначны целой жизни. Как же так?! Я не пойду в выпускной класс, не войду в футбольную, волейбольную команды и в команду пловцов... Потеряю стипендию в Университете Айовы, не стану адвокатом! Слезы слепили мне глаза; помню, я в отчаянии посмотрела на родителей. Сестра на слушание не пришла.

– Мама, пожалуйста, сделай что-нибудь! – зарыдала я, когда судебный пристав повел меня прочь.

Мать смотрела прямо перед собой; ее лицо превратилось в непроницаемую маску. Отец зажмурил глаза и тяжело дышал – видимо, пытался как-то успокоиться. На меня родители даже не смотрели – не могли, наверное. Тогда я думала: когда я выйду на свободу, мне будет целых двадцать семь лет! В голове промелькнуло: интересно, по ком родители будут тосковать – по мне настоящей или по тому образу идеальной дочери, какой сложился в их сознании? Поскольку мое дело первоначально рассматривалось судом по делам несовершеннолетних, мое имя в прессе не разглашалось. В тот же день, когда дело перевели во взрослый суд, к югу от Линден-Фоллс произошло сильное наводнение.

Пострадало несколько сотен жилых домов и предприятий. Четыре человека погибли. В общем, репортеров тогда занимало другое, да и отец задействовал все свои связи. Мое имя так и не попало на страницы газет. Естественно, родители очень заботились о том, чтобы их доброе имя не оказалось запятнанным.

Я иду следом за Девин к ее машине и впервые за пять лет наслаждаюсь солнцем, не отгороженным от меня колючей проволокой. Конец августа – душно, жарко. Я полной грудью вдыхаю горячий, знойный воздух. Как ни странно, в тюрьме воздух пахнет почти так же, как на воле.

– Что ты сейчас хочешь больше всего? – спрашивает Девин.

Я долго думаю перед тем, как ответить. Сама не понимаю, что творится у меня в душе. Наконец-то я покидаю Крейвенвилль. Смогу, наконец, водить машину – права я получила меньше чем за год до ареста. Наконец-то у меня будет хоть какая-то возможность уединиться. Я смогу ходить в туалет, принимать душ, есть, и на меня при этом не будут смотреть несколько десятков человек. И хотя мне придется какое-то время прожить в учреждении для реабилитации, в «доме на полдороге», я все же буду свободна!

Смешно! Я провела в Крейвенвилле пять лет; можно было бы подумать, что я скребла дверь камеры, мечтая выйти на волю. Но все не совсем так. От тюрьмы не остается приятных воспоминаний, там я ни с кем не подружилась, зато обрела то, чего была полностью лишена в прежней жизни: душевное спокойствие. Кажется, что такое невыносимо – при том, что я совершила. И все-таки мне было покойно.

Раньше, до того как меня арестовали, я ни минуты не жила спокойно. Все время подхлестывала себя: вперед, вперед, вперед! Я была круглой отличницей. Занималась в пяти спортивных секциях: волейбольной, баскетбольной, легкой атлетики, плавания и футбола. Сверстники считали меня красивой; многие хотели со мной дружить. Я пользовалась авторитетом. Никогда не попадала в неприятности. Но мне казалось, будто кровь у меня под кожей постоянно бурлит, кипит. Я не могла спокойно усидеть на месте, я никогда не отдыхала. Каждый день просыпалась в шесть утра, выходила на пробежку или занималась в тренажерном зале со штангой и гантелями. Потом принимала душ, доставала из рюкзака захваченный из дому полезный завтрак – батончик из злаков и банан – и шла на уроки. В школе я проводила почти целый день. После занятий шла на тренировку или на матч, потом ехала домой, ужинала с родителями и Бринн и поднималась к себе делать уроки. Уроки отнимали еще три-четыре часа. Лишь около полуночи я ложилась и пыталась заснуть. Ночи были хуже всего. Я лежала неподвижно, но в голове клубились мысли, не давая мне заснуть. Я все время волновалась, удачно ли написала контрольную, не разочаровала ли родителей, как сыграю в следующем матче, поступлю ли в колледж и так далее.

Потом я кое-что придумала, чтобы помочь себе заснуть. Я лежала на спине, подоткнувшись со всех сторон одеялом, и представляла, будто плыву в лодочке по озеру. Озеро такое огромное, что берегов не видно. Надо мной – перевернутая черная чаша неба. Небо безлунное, испещрено тусклыми мерцающими звездами. Ветра нет, но лодочка сама несет меня по черной глади воды. Тихо плещут волны, ударяя в борт. Такая картина как-то успокаивала меня; я закрывала глаза и засыпала. Меня посадили в тюрьму в шестнадцать лет и до восемнадцати держали отдельно от так называемого «основного контингента». Пережив первые, самые ужасные, недели, я вдруг поняла, что лодочка мне больше не нужна. В тюрьме я засыпала без проблем.

Девин выжидательно смотрит на меня. Наверное, ей интересно узнать, что мне сейчас больше всего хочется.

– Я хочу повидать маму, папу и сестру, – говорю я, с трудом сдерживая слезы. – Хочу домой!

Мне плохо из-за всего, что случилось, – особенно из-за того, какое действие мои поступки оказали на сестру. Я все время прошу у нее прощения, пытаюсь как-то наладить отношения, но ничего не получается. Бринн по-прежнему не желает иметь со мной ничего общего.

Когда меня арестовали, Бринн исполнилось пятнадцать, она была... наивной, просто-душной девочкой. По крайней мере, я так думала. Бринн никогда в жизни ни на кого не злилась. Она хранила свой гнев в себе, копила его, словно в шкатулке. Когда шкатулка переполнялась, гнев все равно не выплескивался наружу, а превращался в тоску и уныние.

Еще в детстве, когда мы с ней играли в куклы, я выбирала себе самых красивых – розовых, чистеньких, с красивыми волосами. Бринн же оставались уродцы, изрисованные несмываемым маркером, со спутанными космами, кое-как обкромсанными тупыми ножницами. Бринн никогда не скандалила, ничего не требовала. Помню, я отбирала у нее красивую куклу, а она как ни в чем не бывало брала старую, грязную и принималась нежно ее баюкать – как будто сама ее выбрала. В детстве мне без труда удавалось заставить или уговорить Бринн сделать за меня что угодно – например, вынести мусор или пропылесосить, когда была моя очередь.

Теперь, по здравом размышлении, я вспоминаю некоторые несоответствия, так сказать, трещинки в поведении Бринн, хотя они оставались почти незаметными. Правда, если внимательно понаблюдать за ней, все можно было разглядеть. Но я предпочитала не обращать внимания.

Так, она пальцами выщипывала волоски у себя на руках – до тех пор, пока кожа у нее не краснела и не распухала. Она щипала себя бессознательно, рассеянно, не замечая, что делает. Когда на руках ничего не осталось, она переключилась на брови. Выдергивала по волоску. Мне казалось, будто она пытается сбросить с себя кожу. Мама заметила, что брови у Бринн поредели, и стала бороться с ее, как она говорила, «дурной привычкой». Всякий раз, заметив, что Бринн дотрагивается до лица, мать шлепала ее по руке.

– Бринн, неужели ты хочешь выглядеть странно? – спрашивала мама. – Ты хочешь, чтобы девочки смеялись над тобой?

Бринн перестала выщипывать брови, но все равно придумывала способ наказать себя. Она обкусывала ногти до мяса, кусала внутреннюю поверхность щек, нарочно царапала себя, а потом сдираала корки, пока ранки не начинали гноиться.

Мы с ней – полная противоположность. Инь и ян. Я высокая и крепкая, Бринн маленькая и хрупкая. Я – большой, здоровый подсолнух, который всегда поворачивается лицом к солнцу, а Бринн – сон-трава, тоненькая, неприметная, с вечно поникшей головой. Кажется, дунет ветер – и нет ее.

Хотя я никогда ей в том не признавалась, я любила ее больше всех на свете. Я принимала ее как данность; она всегда прибегала по первому моему зову и смотрела на меня снизу вверх, с восхищением и обожанием. А сейчас я, видимо, перестала для нее существовать; и, откровенно говоря, я ее не виню.

Из тюрьмы я писала Бринн письмо за письмом, но она ни разу мне не ответила. Поехать к ней и увидеть ее я не могла. Теперь я свободна и могу поехать к Бринн сама. Я заставлю ее посмотреть на меня, выслушать меня. Больше я ничего не хочу. Мы с ней поговорим десять минут – и все снова будет в порядке.

Мы садимся в машину и отъезжаем от Крейвенвилля; внутри у меня все сжимается от волнения и страха. Я вижу, что Девин в нерешительности. Наконец она предлагает:

– Давай сначала заедем куда-нибудь и перекусим, а потом поедem в «Дом Гертруды»? Оттуда ты сможешь позвонить родителям.

Я не хочу в «дом на полдороге». Наверняка тамошние обитательницы считают совершенное мною преступление самым гнусным. Даже подсевшая на героин проститутка, осужденная за вооруженное ограбление и убийство, заслуживает больше сочувствия, чем я. Гораздо больше мне хочется жить с родителями, в доме, где я выросла, с которым меня связывают хоть какие-то хорошие воспоминания. Хотя там потом и случился весь этот ужас, именно там мне следует быть... по крайней мере, сейчас.

Просить об этом бессмысленно. Заранее знаю, что мне ответит Девин. Родители не хотят меня видеть, не желают иметь со мной ничего общего, не хотят, чтобы я вернулась домой.

Бринн

Я получаю от Эллисон письма. Иногда мне хочется ответить ей, навестить ее, вести себя, как подобает сестре. Но что-то всегда меня останавливает. Бабушка советует мне поговорить с Эллисон и постараться простить ее. А я не могу. В ту ночь, пять лет назад, во мне будто что-то сломалось. Было время, когда я бы отдала все на свете, чтобы стать настоящей сестрой для Эллисон, быть с ней близкой, как когда-то в детстве. Мне казалось, она все- сильна. Я очень гордилась ею – а вовсе не ревновала, не завидовала, как думали все. Мне никогда не хотелось стать Эллисон; мне хотелось быть собой, чего не понимал никто, особенно мои родители.

Я не знала более изумительного человека, чем Эллисон. Умница, красавица, спортсменка, гордость школы и всего городка. Все ее любили, хотя она не всегда была милой и славной. Нет, она никому не делала гадостей нарочно, просто ей не нужно было прилагать никаких усилий к тому, чтобы окружающие ее полюбили. Ее просто любили, и все. Она шла по жизни так легко, что мне оставалось лишь одно: стоять в сторонке и любоваться.

Еще до того, как Эллисон стала гордостью Линден-Фоллс, до того, как родители стали связывать с ней большие надежды, до того, как она перестала сжимать мне руку, давая понять, что все будет хорошо, нас с Эллисон, что называется, нельзя было разлить водой. Мы с ней были как близнецы, хотя совсем не похожи. Эллисон старше меня на год и два месяца. Она высокая, и волосы у нее очень светлые, прямые и длинные. И ярко-голубые глаза, которые как будто видят тебя насквозь или дают понять, что, кроме тебя, для нее никого на свете не существует – в зависимости от ее настроения. Я же низенькая и неприметная, можно сказать, дурнушка, и на голове у меня вечно спутанные патлы непонятного цвета – вроде побуревших дубовых листьев.

Раньше нам казалось, будто мы одно целое. Когда Эллисон было пять лет, а мне – четыре года, мы умоляли родителей, чтобы те разрешили нам спать в одной комнате, хотя у нас в доме пять спален и места хватает для всех. Нам хотелось быть вместе. Когда мать наконец согласилась, мы сдвинули наши одинаковые кровати, а отец повесил над ними бледно-розовую сетку-полог, и получилась как будто палатка. Бывало, мы часами играли в ней в веревочку или вместе смотрели книжки с картинками.

Мамины подружки умилялись нашей дружбе.

– И как только у тебя получается? – говорили они. – Как тебе удалось добиться, чтобы твои девочки так хорошо ладили между собой?

Мать горделиво улыбалась.

– Все дело в том, чтобы воспитать в них взаимное уважение, – своим не терпящим возражений тоном объясняла она. – Мы требуем, чтобы они не обижали друг друга, чтобы дружили – и они дружат. Кроме того, очень важно, чтобы дети и родители проводили много времени вместе. Ведь мы же семья!

Когда мама заводила такие речи, Эллисон, бывало, закатывала глаза, а я усмехалась, прикрыв рот ладошкой. Да, мы действительно проводили много времени с родителями – то есть сидели с ними в одной комнате, – но никогда по-настоящему не говорили по душам.

Эллисон было двенадцать, когда она решила переехать из нашей общей спальни в отдельную комнату. Ее решение потрясло меня.

– Почему? – спрашивала я. – Зачем тебе отдельная комната?

– Хочу, и все, – сказала Эллисон, отодвигая меня с дороги и вынося из комнаты груды платьев.

– За что ты на меня злишься? Что я сделала? – всхлипывала я, плетясь за ней в ее новую комнату, соседнюю с нашей бывшей общей спальней. Теперь в бывшей «нашей» комнате оставалась одна я.

– Ничего, Бринн. Ничего ты не сделала. Просто иногда мне хочется побыть одной, – ответила Эллисон, развешивая платья в своем шкафу. – И потом, я ведь рядом, за стеной... Бринн, да ты, никак, реветь собралась? А ну-ка, перестань! Можно подумать, ты меня больше никогда не увидишь!

– Я не реву, – ответила я, смахивая слезы.

– Давай-ка лучше вместе перетащим кровать.

Она схватила меня за руку и потянула в нашу прежнюю комнату. В мою комнату. Когда мы сняли с ее кровати матрас и с трудом пропихнули его в коридор, я поняла: ничего уже не будет, как раньше. Эллисон развешивала в своей новой комнате свои школьные грамоты, медали за победу на соревнованиях, кубки и ленты, а я наблюдала за ней и понимала: больше мы с ней не одно целое. Эллисон все больше и больше отдалялась от меня. У нее были подруги, учеба, соревнования. Ее пригласили в очень сильную волейбольную команду, которая часто выезжала играть в другие города. Почти каждую свободную минуту она проводила на тренировках, за уроками или чтением. А мне хотелось только одного: быть с Эллисон.

Родители совсем мне не сочувствовали.

– Бринн, – говорила мать, – пора взрослеть! Конечно, Эллисон хочет жить в отдельной комнате. Было бы странно, если бы она этого не хотела!

Я всегда знала, что чем-то отличаюсь от других детей, но никогда не считала себя *странной*, пока мать не упомянула об этом. Я подолгу смотрелась в зеркало, пытаюсь понять, в чем моя странность и почему другие замечают то, чего не вижу я. Может, дело в волосах? Они у меня неопределенного цвета, курчавые; если их тщательно не причесывать, не укрощать, на голове будет настоящее воронье гнездо. Остатки бровей нависают над глазами в виде двух запятых, отчего выражение лица у меня всегда как будто удивленное. Нос средний – не слишком большой, не слишком маленький. Я знала, что когда-нибудь у меня будут очень красивые зубы, но в одиннадцать лет мне поставили брекеты, и зубы напоминали игрушечных солдатиков, которых приучают ходить строем. В общем, мне не показалось, будто я выгляжу странно – если не считать бровей. Потом я догадалась, что странность, непохожесть на других скрыта внутри меня, и дала себе слово, что буду эту непохожесть прятать. Я предпочитала оставаться на заднем плане, наблюдать, а не действовать. Никогда не высказывала собственного мнения, ничего не предлагала. Правда, никто моего мнения и не спрашивал. Когда у тебя такая сестра, как Эллисон, оставаться в ее тени легко.

Я проплакала всю первую ночь, которую провела одна в бывшей «нашей» спальне. Мне казалось, что комната слишком велика для меня одной. Она казалась голой – в ней остался только один мой стеллажик с книгами и комод, несколько мягких игрушек. Я плакала, потому что любимая сестра больше не хотела, чтобы я была рядом с ней. Она ушла от меня не оглянувшись.

А потом, когда ей исполнилось шестнадцать, я снова ей пригодилась.

В тот вечер я даже могла не быть дома. Я собиралась в кино с друзьями. И вдруг мама выяснила, что с нами идет Натан Кэнфилд, и страшно возмутилась. Как-то раз Натана засекли с бутылкой спиртного или с чем-то в таком же роде; в общем, мама заявила, что этот мальчишка – неподходящая компания для меня. Короче говоря, в кино меня не пустили и запретили выходить из дому.

Я часто думаю, как могла бы сложиться моя жизнь – да и жизнь всех нас, – если бы в тот вечер я сидела в кино с Натаном Кэнфилдом и ела попкорн, а не осталась дома.

Не знаю, как выглядит Эллисон сейчас. В тюрьме никто не хорошеет. Возможно, ее когда-то высокие скулы скрыты под толстыми складками жира, а длинные блестящие волосы

превратились в кое-как обкромсанные патлы. Не знаю. Я не видела Эллисон с того дня, как ее увела полиция.

Я скучаю по сестре – по той, что вела меня за руку в подготовительный класс и утешала, когда я плакала, по той сестре, что помогала мне выучить правописание трудных слов, которая учила меня играть в футбол. Вот по какой Эллисон я скучаю. А по другой... совсем нет. С другой Эллисон я бы с радостью не виделась до конца жизни. После того как ее посадили в тюрьму, я прошла через ад. Потом я переехала к бабушке, и моя жизнь наконец-то стала налаживаться. Теперь у меня есть друзья, учеба, бабушка, мои питомцы. Мне этого достаточно.

Мне страшно думать о том, как пять лет, проведенные в тюрьме, изменили Эллисон. Она всегда была такой красивой и уверенной в себе. Что, если она уже не та девочка, которая могла поставить на место Джимми Уоррена, местного хулигана? Не та девочка, которая пробегала восемь миль не запыхавшись, а потом еще делала сто упражнений для пресса?

Или, хуже того, что, если она осталась такой же? Что, если она совсем не изменилась?

Эллисон

Вряд ли моя сестра знает, что меня выпустили из тюрьмы. Через два года после того, как меня посадили, она, закончив среднюю школу, ушла из дома и переехала в Нью-Эймери, к нашей бабушке по отцу. Нью-Эймери в двух с половиной часах езды от Линден-Фоллс. Последнее, что я о ней знаю, – она поступила в двухгодичный местный колледж на ветеринарное отделение. Кажется, занимается воспитанием животных-компаньонов. Животных Бринн любила всегда. Я рада, что она нашла себе дело, которое ей подходит. Если бы родителям удалось настоять на своем, она бы заполнила собой пустоту, образовавшуюся после того, как меня забрали, и поступила на юридический факультет.

Даже поселившись у бабушки, Бринн не хочет отвечать на мои письма и не подходит к телефону. Я, конечно, все понимаю. Понимаю, почему она не желает иметь со мной ничего общего. Будь я на ее месте, я бы, наверное, поступила точно также. Правда, вряд ли выдержала бы так долго без общения с ней.

Целых пять лет она делает вид, будто меня не существует. Знаю, я относилась к ней не слишком-то хорошо, но ведь я была девчонкой! Несмотря на свои разносторонние достижения, я совершенно ничего не понимала в жизни. Теперь я раскаиваюсь в своих ошибках, но все равно не знаю, как вернуть сестру, как добиться того, чтобы она меня простила.

По пути в Линден-Фоллс мы с Девин почти не разговариваем, что меня очень утешает. Когда родители наняли ее защищать мои интересы, Девин была ненамного старше меня теперешней. Она приехала в Линден-Фоллс, закончив юридический факультет, потому что здесь родился и вырос ее однокурсник, с которым они собирались пожениться и открыть совместную юридическую практику. С женой они расстались. Он уехал, она осталась. Если бы не Девин, я бы сидела в тюрьме намного, намного дольше. Я многим ей обязана.

– Эллисон, теперь у тебя начинается совершенно новая жизнь, – говорит Девин, сворачивая на шоссе, пересекающее реку Друид и ведущее к Линден-Фоллс.

Я киваю, но ничего не отвечаю. Наверное, мне положено испытывать радостное волнение, а мне страшно. При мысли о том, что мы возвращаемся в городок, где я родилась и выросла, у меня кружится голова; я крепко сцепляю руки, чтобы не дрожали. Меня захлестывают воспоминания. Вот мы проезжаем мимо церкви, куда ездили каждое воскресенье, мимо моей начальной школы и мимо средней, которую я так и не окончила...

– Как ты? – спрашивает Девин.

– Не знаю, – откровенно отвечаю я и прислоняюсь головой к прохладному стеклу.

Мы молча едем мимо колледжа Святой Анны, где я в первый раз увидела Кристофера, мимо улицы, на которую надо было бы свернуть, если бы мы ехали в дом моих родителей, мимо футбольного стадиона, на котором моя команда три года подряд выигрывала городской чемпионат.

– Стойте! – вдруг говорю я. – Пожалуйста, остановитесь здесь.

Девин подъезжает к стадиону и останавливается рядом с полем, на котором пинают мяч девочки-подростки. Я вылезая из машины и несколько минут смотрю на них. Девочки всецело поглощены игрой. Лица у них раскраснелись, «конские хвосты» намочили от пота.

– Можно поиграть? – тихо, застенчиво спрашиваю я, не узнавая собственного голоса. Как будто говорю вовсе и не я. Девочки даже не замечают меня и продолжают играть. – Можно поиграть? – спрашиваю я чуть громче, и какая-то крепко сбита рыжеволосая коротышка в налобной повязке останавливается и скептически оглядывает меня с головы до ног. – Всего одну минуточку! – прошу я.

– Идет! – кивает коротышка и бежит за мячом.

Я осторожно выхожу на поле, поросшее изумрудно-зеленой травой; не в силах устоять, я наклоняюсь и глажу ее ладонью. Она мягкая и влажная – утром прошел дождь. Я бегу – вначале медленно, потом все быстрее. В тюрьме я старалась не терять формы; бегала по двору во время прогулок, а в камере отжималась и делала упражнения для брюшного пресса. Но футбольное поле большое; вскоре я задыхаюсь и вынуждена остановиться. Наклоняюсь, упираюсь ладонями в колени. Мышцы уже болят.

Девочки-футболистки косятся на меня; наверное, их, загорелых, крепких, смущает моя нездоровая бледность. В тюрьме я редко видела солнце. Но вот кто-то передает мне пас, и все возвращается. Я чувствую мяч и инстинктивно вспоминаю, в какую сторону бежать. Я несусь между девочками, веду мяч, пасую. На минуту можно забыть, что мне двадцать один год, что жизнь пущена под откос, что я только что освободилась из тюрьмы. Какая-то девочка посылает мне мяч, и я бегу к воротам. Дешевые теннисные туфли скользят на сырой траве, но мне удастся не упасть. Навстречу мне бежит защитница другой команды; я обвожу ее и передаю пас девочке в налобной повязке. Она точным ударом посылает мяч в ворота; наша команда бурно радуется. Целую минуту мне кажется, будто мне снова тринадцать и я играю с подружками. Улыбаясь, я вытираю пот со лба.

Потом я оглядываюсь и вижу Девин. Она терпеливо ждет меня в машине. На ее лице странное выражение. Должно быть, я выгляжу по-дурацки – взрослая тетя в мешковатых штанах цвета хаки и рубашке поло играет в футбол с детишками.

– Ты прирожденная футболистка, – говорит Девин.

– Да, а что толку? – отвечаю я, радуясь, что она не замечает моего смущения, потому что лицо у меня и так покраснелось от усталости.

– Никогда не знаешь, что тебе пригодится, – отвечает Девин. – Поехали, у нас есть еще немного времени. Давай перекусим, а потом отправимся в «Дом Гертруды».

Когда Девин останавливается у «дома на полдороге», где мне суждено провести следующие полгода, снова начинается дождь. Я вижу огромный особняк в викторианском стиле, выкрашенный белой, уже облупившейся краской, с черными ставнями и крыльцом с белыми перекладинами.

– Надо же, не думала, что он такой большой, – говорю я, задирая голову. Дом выглядел бы жутковато, если бы не красивый, ухоженный палисадник.

– Здесь шесть спален, в каждой живут по две или три женщины, – объясняет Девин. – Олин тебе понравится. Она основала «Дом Гертруды» лет пятнадцать назад. Ее родная дочь тоже вышла из тюрьмы... и погибла. Олин думает, если бы Труди было куда пойти после освобождения, если бы суд предписал ей жить в каком-нибудь учреждении для реабилитации, она осталась бы жива. Вот почему она открыла «Дом Гертруды», в котором женщины, вышедшие из тюрьмы, привыкают к жизни на свободе.

– Отчего погибла ее дочь? – спрашиваю я, когда мы выходим из машины.

– Возвращаться к матери Труди не захотела. После освобождения она сразу поехала к своему дружку, который еще до тюрьмы посадил ее на иглу. Через три дня после освобождения она умерла. Передозировка. Олин нашла ее.

Не знаю, что тут скажешь. Мы молча бредем под дождем, поднимаемся на крыльцо. Девин стучит в дверь. Нам открывает женщина лет шестидесяти в бесформенном джинсовом платье. Она худая, с коротко стриженными серебристо-седыми волосами. Кожа у нее загорелая, дубленая. Она похожа на засохшую морковку, которую слишком долго продержали в овощном ящике холодильника.

– Девин! – восклицает она, обнимая мою спутницу. На тонких запястьях звякают серебряные браслеты.

– Здравствуй, Олин, – со смехом отвечает Девин. – Я тоже всегда рада тебя видеть.

– Ты, должно быть, Эллисон. – Олин выпускает Девин и берет мою руку в обе свои. Руки у нее теплые и сильные. – Рада с тобой познакомиться, – продолжает она сиплым, прокуренным голосом, не сводя с меня зеленых глаз. – Добро пожаловать в «Дом Гертруды»!

– И я рада с вами познакомиться, – отвечаю я, стараясь не отводить взгляда в сторону.

– Входи же, входи! Сейчас устрою тебе экскурсию. – Олин отступает в прихожую.

Я оглядываюсь на Девин; грудь сжимается от страха. Девин ободряюще кивает.

– Эллисон, мне пора возвращаться на работу. Я навешу тебя завтра, договорились? – Заметив мое встревоженное лицо, она обнимает меня. Хотя легче мне не становится, я благодарна ей за ласку. – До свидания, Олин... и спасибо тебе! – говорит Девин и, повернувшись ко мне, добавляет: – Держись. Все будет хорошо. Если что-то понадобится, звони.

– Все нормально, – отвечаю я, успокаивая скорее себя, чем Девин. – Привыкну.

Я смотрю ей вслед. Она быстро сбегает с крыльца и возвращается к машине – и к своей привычной жизни. А ведь и я могла быть такой же! Могла бы носить серый костюм и возить клиентов в дорогой машине. А вместо этого прижимаю к груди рюкзак, в котором уместилось все мое имущество. Мне предстоит жить в одном доме с людьми, с которыми в своей прежней жизни я бы даже не стала знакомиться. Я поворачиваюсь к Олин. Она пытливо изучает меня, и на ее лице появляется выражение, которое я пока не могу описать. Жалость? Печаль? Может, она вспоминает свою дочь? Не знаю.

Она откашливается – хрипло, с мокротой – и продолжает экскурсию:

– Сейчас здесь живут десять женщин, вместе с тобой уже одиннадцать. Твою соседку по комнате зовут Би. Она славная. Вот здесь раньше была библиотека. – Олин кивком указывает на большую квадратную комнату слева. – Сейчас мы проводим в ней собрания – каждый вечер в семь. Здесь столовая. Ужин ровно в шесть. Завтракать и обедать можно когда хочешь. Кухня вон там – я проведу тебя туда, когда закончим экскурсию. Как бывает почти везде, кухня – сердце «Дома Гертруды».

Олин передвигается стремительно; приходится спешить, чтобы не отстать, и у меня нет времени осмотреть все комнаты по очереди. После безыскусной тюремной камеры «Дом Гертруды» очень давит на психику. Стены здесь ярко окрашены, повсюду картины и фотографии, мебель и разные безделушки. В дальнем углу играет музыка; мне кажется, что я слышу детский плач. В ответ на мой вопросительный взгляд Олин объясняет:

– Родственники могут навещать постоялиц. А плачет ребенок Кейси. Кейси на следующей неделе уходит от нас. Возвращается домой, где будет жить с мужем и детьми.

– Почему она оказалась здесь? – спрашиваю я, когда Олин подводит меня к еще одной комнате, похожей на гостиную.

– У нас, в «Доме Гертруды», не принято расспрашивать друг друга о прошлом. Мы предпочитаем заглаживать свои ошибки, делая лучше жизнь других и помогая друг другу достичь своей цели. Правда... – Олин встряхивает головой, – здесь слухи распространяются быстро; ты довольно скоро познакомишься со всеми.

Неожиданно я чувствую страшную усталость. Очень хочется, чтобы Олин поскорее отвела меня в мою комнату. Хочется вползти под одеяло и заснуть. Навстречу нам попадаете приземистая толстушка с черными волосами до талии. Видимо, она любительница пирсинга – в ее носу и губах целая коллекция самых причудливых колечек и сережек.

– Эллисон, это Табата. Табата, это Эллисон Гленн. Она будет жить в комнате с Би.

– Я знаю, кто ты, – хмыкает Табата, отбрасывая волосы назад и поднимая большое ведро с чистящими средствами.

Я, конечно, не думала, что мне удастся сохранить свою личность в тайне, и все-таки хочется, чтобы будущие соседки считали, что я угоняла машины, нюхала кокаин или даже убила мужа, не выдержав его издевательств...

– Рада познакомиться, – говорю я, и Табата фыркает так громко, что я боюсь, как бы у нее из носа не вывалилась серьга. Вдруг мне становится смешно, потому что я вспоминаю свою подругу Кейт. Когда нам было по четырнадцать лет, она, ничего не сказав родителям, проколола себе пупок. Вскоре место прокола воспалилось и загноилось. Я пыталась помочь ей, но Кейт боялась щекотки и хихикала всякий раз, как я прикасалась к ее животу. Бринн вошла в комнату, когда я помогала ей промыть рану, и мы невольно расхохотались. После того случая всякий раз, как мы с Бринн видели человека с пирсингом в необычном месте, на нас нападал смех.

Я притворяюсь, будто не замечаю в Табате ничего необычного, и оборачиваюсь к Олин:

– У вас можно звонить по телефону? Могу я поговорить с сестрой?

Бринн

Я слышу телефонный звонок.

– Я подойду! – кричит бабушка.

Через минуту она входит на кухню, где я намазываю себе бутерброд. Я вижу, какое выражение у бабушки на лице, и понимаю, что звонок как-то связан с Эллисон.

– Это твоя сестра, – говорит она. Я сразу трясую головой. – Бринн, по-моему, тебе стоит подойти и поговорить с ней!

Бабушка пытается говорить строго, но я знаю: она ни за что не станет заставлять меня разговаривать с ней.

– Нет, – говорю я, намазывая хлеб арахисовым маслом.

– Рано или поздно тебе все равно придется с ней поговорить, – терпеливо говорит бабушка. – По-моему, тебе сразу облегчает.

– Я не хочу с ней разговаривать! – твердо отвечаю я. Я не могу сердиться на бабушку. Знаю, она любит нас обеих и теперь разрывается пополам. Она всегда желала нам обоим только хорошего.

– Бринн, раз ты не подходишь к телефону и не отвечаешь на письма, Эллисон придумает другой способ связаться с тобой!

Неожиданно у меня в голове что-то щелкает. Я все понимаю, посмотрев в бабушкины добрые голубые глаза. *Эллисон выходит из тюрьмы. А может, она уже на свободе!*

Руки у меня дрожат, и комок арахисового масла падает с ножа на пол. Мне очень страшно. Вдруг она возьмет и без предупреждения зайвится сюда? Живое представляю: вот я на заднем дворе дрессирую Майло, метиса немецкой овчарки и чау-чау. Учю его проходить мимо угощения, не съев его. Оборачиваюсь и вижу ее. А она стоит и смотрит на меня. Ждет, что я скажу ей... Что? Что я могу ей сказать? И что может сказать мне она? Она ведь написала мне целую кучу писем. Сколько раз можно просить прощения?

Я отрываю кусок бумажного полотенца и нагибаюсь, но Майло успевает слизать с пола арахисовое масло раньше меня.

– Я не могу с ней разговаривать.

Бабушка сжимает губы и с расстроенным видом качает головой.

– Хорошо, я ей передам. И все-таки, Бринн, когда-нибудь тебе придется с ней встретиться.

Я не отвечаю, но следом за ней иду в гостиную и смотрю, как она берет трубку.

– Эллисон! – Бабушкин голос дрожит от смешанных чувств. – Бринн не может подойти к телефону. – Она молча слушает ответ. – У нее все хорошо... Да, очень хорошо.

Я больше не выдерживаю; ухожу на кухню, хватаю бутерброд и выбегаю черным ходом к машине. Я давно поняла: с животными ладить намного легче, чем с людьми. Родители никогда не позволяли мне завести домашнего питомца – от них много шерсти, много грязи, они требуют много времени и сил. Я вечно притаскивала домой с улицы щенят или котят в надежде, что мне позволят их оставить. Я прихорашивала своих найденышей как могла – расчесывала свалявшуюся шерсть старой расческой, срезала колтуны, брызгала на них дезодорантом, чистила им зубы старой зубной щеткой. Я подбирала старых дворняжек, одноглазых кошек с рваными ушами. Помню, как я торжественно выносила их родителям. Смотрите, какой славный песик! Смотрите, какая пушистая кошечка! Какие они ручные, смышленные, милые! Неужели вы не понимаете, как мне одиноко? Вы понимаете? Нет. Мне не разрешали оставить любимца дома. Отец заставлял меня отвезти найденышей в приют, и всякий раз я плакала и так крепко вцеплялась в них, что они царапались и кусались, стараясь вырваться из моей хватки.

Бабушка позволила мне завести питомцев, хотя ограничила их количество пятью. У нас две кошки, майна, морская свинка и Майло. Бабушка заявила: хорошенького понемножку; она не хочет превращаться в свихнувшуюся старуху, к которой ездят инспекторы комиссии по жестокому обращению с животными.

Я хочу выдрессировать Майло на собаку-компаньона. Он должен быть послушным: например, сейчас он учится в течение тридцати секунд сидеть или лежать и прибегать, когда его зовут. А еще Майло придется пройти тест на стрессоустойчивость, то есть не реагировать на крики и ссоры. Бабушка помогает мне учить его. Мы с ней нарочно кричим друг на друга, как будто ссоримся, чья сегодня очередь выносить мусор или готовить ужин. Помоему, Майло понимает, что мы ругаемся понарошку; он зевает, ложится и выразительно смотрит то на меня, то на бабушку. В конце концов мы не выдерживаем и смеемся. Когда курс дрессировки будет окончен, я собираюсь водить Майло в дома престарелых и больницы. Доказано, что животные способны облегчать страдания тяжелобольных и пожилых людей. Когда-нибудь я хочу открыть свой питомник – выращивать собак-компаньонов. Впервые в жизни у меня появилась цель. Причем хорошая. Не хочу, чтобы кто-то или что-то отвлекало меня от нее. И родители, и – особенно – сестра.

Если бы только Эллисон тогда поступила как всегда, то есть сделала правильный выбор! Вся наша жизнь сложилась бы по-другому. Ее бы никуда не увезли. Родители были бы счастливы, а я могла бы раствориться в тени – то есть там, где мне самое место. Но она сделала неверный выбор. Она с грохотом упала с пьедестала и оставила меня в доме наедине с родителями.

Я не была и никогда не буду образцовой девочкой, такой как Эллисон. А ведь родители так бились надо мной! Когда я училась в старших классах, они неустанно давили на меня. Давили, давили, давили. Живя с ними, я не могла мыслить здраво, не могла ничего решить, не могла дышать. Я честно поступила в колледж Святой Анны, старалась хорошо учиться, пробовала завести там друзей, но всякий раз, как я входила в аудиторию, меня охватывал страх. Он всегда начинался с шума в ушах. Что-то вибрировало в горле, постепенно спускаясь вниз, распространяясь по телу. Потом вибрация добиралась до кончиков пальцев. Грудь сжималась; я не могла вздохнуть. Преподаватели и однокурсники глазели на меня, а я в ответ глазела на них, и вдруг они словно начинали таять. Уши сползали по щекам, губы проваливались сквозь подбородки... в конце концов все они превращались в жирные лужи.

И только когда я выпила целый флакон снотворного, найденного в маминой аптечке, родители наконец оставили меня в покое. Они с радостью услали меня «через речку, через лес»¹ – к бабушке. С чемоданом и рецептом на антидепрессант.

В Нью-Эймери все сразу стало лучше. Бабушка записала меня к врачу; я стала принимать лекарство, которое вправило мне мозги. Сейчас мне неплохо живется. Но разговаривать с Эллисон я не буду. Я *не могу* разговаривать с ней! Так лучше. И для нее, и для меня.

Впервые в жизни Эллисон получила по заслугам.

¹ Слова из популярной песни, которую поют на День благодарения.

Эллисон

Я ставлю телефон в базу; Олин внимательно наблюдает за мной своими пронзительными птичьими глазами. Как только обживусь здесь и устроюсь на работу, первым делом куплю себе сотовый телефон, чтобы разговаривать не при всех. Родители наверняка купят мне мобильник, если я попрошу, но не хочется в первую же встречу о чем-то их просить. Кроме того, мне важно доказать им, что у меня все будет нормально, что я способна о себе позаботиться. Интересно, вспоминают ли они меня? В глубине души я надеялась, что их машина будет стоять напротив «Дома Гертруды» и они выйдут ко мне, когда я приеду.

Наверное, Олин умеет читать мысли, потому что она вдруг говорит:

– Здесь почти у всех мобильные телефоны, но у нас существуют определенные правила. Мобильник нужно выключать, когда ты выполняешь работу по дому или во время собрания. Мы уважаем потребность других в тишине.

Олин продолжает свою экскурсию с того места, где прервала ее. Она ведет меня на кухню, где все по очереди готовят ужин, и в восьмиугольную комнату с высоким потолком, где стоит телевизор. Я вижу, что на диване дремлет седовласая женщина в фартучке официантки, а в кресле сидит молодая, миниатюрная, темнокожая женщина. Она держит на коленях малыша и тихо напевает ему что-то по-испански. По телевизору идет мыльная опера; звук прикручен.

– Это Флора и ее сын Манало, – шепчет Олин. – А там Марта. – Олин тычет рукой в дремлющую женщину.

Флора подозрительно щурится и крепче прижимает к себе Манало. Малыш машет нам пухлой ручкой и улыбается.

– Приятно познакомиться, – говорю я.

Флора поворачивается к Олин и с пулеметной скоростью тарыхтит по-испански; интонации у нее явно враждебные. Олин тоже отвечает ей по-испански. Похоже, согласившись принять меня в «Доме Гертруды», Олин вызвала целую бурю. Теперь ей долго придется успокаивать моих соседок.

– Пошли вверх; я покажу тебе твою комнату, – говорит Олин.

По винтовой лестнице мы поднимаемся на второй этаж, где расположены спальни. Я спиной чувствую на себе испепеляющий взгляд Флоры. В «Доме Гертруды» я пробыла здесь всего двадцать минут, но, похоже, все уже знают, кто я и что сделала. Правда, мне не привыкать. С таким же отношением мне пришлось столкнуться и в тюрьме, но здесь все как-то по-другому.

– Предполагается, что все принимают активное участие в наведении порядка в доме, – говорит Олин, и я вижу, что так оно и есть.

Олин тихо стучит в закрытую дверь, распахивает ее, и я вижу маленькую комнату с двухъярусной кроватью и двумя комодиками. Постели застелены бельем в сине-белый цветочек; подушки пухлые, мягкие. На меня снова накатывает усталость. Мне хочется поскорее лечь. Стены выкрашены в голубой цвет; на окнах накрахмаленные тюлевые занавески. Комната очень мирная.

– Твоя соседка, Би, сейчас на работе. Она вернется через несколько часов. Располагайся, разложи вещи. Я вернусь попозже, мы закончим экскурсию, я тебе обо всем расскажу.

Я смотрю на двухъярусные кровати. Которая из них моя?

– Твое место нижнее, – говорит Олин. – Би любит спать наверху; говорит, что на нижней койке у нее начинается клаустрофобия.

Олин хлопает меня по плечу и идет к выходу.

– Олин, – окликаю ее я. Она оборачивается ко мне, и я вздрагиваю, заметив, какое у нее доброе морщинистое лицо. – Спасибо!

– Пожалуйста, – улыбается она. – Отдыхай. Если что-нибудь понадобится, кричи.

Мои скудные пожитки умещаются в одном ящике комода, и еще остается много места. Чем-то «Дом Гертруды» напоминает мне летний лагерь, куда я ездила в одиннадцать лет, наверное двухъярусными кроватями и тем, что, по словам Олин, скучать здесь не приходится. Распорядок дня висит в гостиной. Подъем без четверти шесть, отбой в половине одиннадцатого. День заполнен хозяйственными делами; на вечерних собраниях обсуждается все – от покупки продуктов до способов гасить вспышки гнева. Кроме того, здесь можно, например, узнать, как лучше вести себя на собеседовании, устраиваясь на работу.

Я сажусь на нижнюю койку и слегка подпрыгиваю. Пружины упругие, но податливые. Похоже на настоящую кровать, не то что твердые койки в Крейвенвилле с грубыми, шершавыми простынями, от которых воняет хлоркой. Я поднимаю пухлую подушку и зарываюсь в нее носом. От наволочки пахнет лавандой. На глаза у меня наворачиваются слезы. Может, здесь будет не так плохо? Вряд ли здесь окажется хуже, чем в тюрьме. Надеюсь, мои соседки постепенно привыкнут ко мне. Надеюсь, родители перестанут волноваться, что скажут соседи, и снова вспомнят о том, что я их дочь. И может быть... может быть, Бринн тоже простит меня.

Я глубоко вздыхаю еще раз, отрываю подушку от лица... и вижу ее. На меня смотрят пустые, бессмысленные глаза. На грязном пластмассовом личике застыла полуулыбка. Я хватаю куклу – старую, помятую; похоже, ее достали из мусора. На голой кукольной груди несмываемым маркером выведено всего одно слово. Я знаю, что теперь это слово будет следовать за мной повсюду, куда бы я ни поехала. *Убийца*.

Клэр

В «Закладке» полумрак и тишина. Внезапный воскресный ливень смыл удушающую августовскую жару – и всех покупателей. Клэр Келби распаковывает очередную коробку с книгами. Из-за прилавка показывается голова Джошуа; на макушке, как всегда, торчит соломенный вихор. Клэр с трудом подавляет желание поклониться пальцы и пригладить торчащие прядки. Его темно-карие глаза выжидательно смотрят на нее.

– Чем я могу вам помочь, молодой человек? – полунасмешливо-полусерьезно спрашивает Клэр у сынишки.

– Мне скучно, – капризничает Джошуа и ногой, обутой в теннисную туфлю, лягает прилавок.

– Уже прочел все книжки в детском отделе? – спрашивает Клэр, и Джошуа оглядывается через плечо на многочисленные полки с книгами. Оглянувшись на мать, он кивает, стараясь сдержать улыбку.

Клэр недоверчиво хмыкает и спрашивает об их шестилетнем пятнистом английском бульдоге:

– Где Трумэн?

– Дрыхнет, – ворчит Джошуа, сдвигая брови. – Опять!

– Очень его понимаю. День сегодня дождливый, и так приятно вздремнуть, – отвечает Клэр. – Хочешь мне помочь? До закрытия надо успеть вынуть книги из коробок и расставить их на стеллажи. А может, ты тоже хочешь вздремнуть?

– Я не хочу спать, – упрямится Джошуа, хотя глаза у него сонные-сонные. – Когда папа приедет?

– Скоро, – уверяет Клэр и, перегнувшись через прилавок, чмокает сына в светлую макушку.

Она оглядывает книжный магазин, ставший для нее и убежищем, и бременем. Много лет назад он помог ей не сойти с ума. Она с утра до позднего вечера трудилась, и голова была занята. В «Закладке» Клэр забывала горькие мысли о том, что тело, которое много лет так хорошо ей служило, в корне предало ее. Иногда она вдруг вспоминала об этом и застывала на месте, забыв, что ей нужно завернуть покупку, распаковать книги или подойти к телефону. Она заставляла себя отталкивать тревогу, которая стискивала сердце, до тех пор, пока к ней не возвращалась возможность дышать.

Потом – вдруг, внезапно – произошло чудо: у них появился Джошуа. В самый обычный день, после того, как они уже смирились с тем, что детей у них не будет – ни своих, ни приемных. Сейчас ей кажется: «Закладка» отнимает у нее все больше времени, которое ей хочется проводить с сыном. Скоро он пойдет в подготовительный класс; Клэр наслаждается последними часами, которые они могут провести вместе, хотя и понимает, что сынишке гораздо полезнее играть на воздухе, чем сидеть с ней в магазине.

Прошло почти двенадцать лет с тех пор, как Клэр открыла собственный книжный магазин. Почти всем она занималась сама. Нашла подходящее помещение на обсаженной дубами Салливан-стрит, в недавно отреставрированном центральном районе Линден-Фоллс, взяла в банке заем для малого бизнеса, заказала книги и наняла помощницу на неполный рабочий день. А Джонатан поработал над интерьером. О такой красоте Клэр даже не мечтала. Раньше, в середине девятнадцатого века, в этом здании размещалась швейная мастерская; она принадлежала одной независимой женщине, переехавшей в Линден-Фоллс со стареющим отцом. Дом оказался очень красивым. Сняв многочисленные слои краски, отчистив стены и потолки от копоти, Джонатан обнаружил ореховые панели и лепнину. На втором этаже Клэр и Джонатан нашли заплесневелые рулоны материи, а на чердаке, под столом, –

большие жестянки с пуговицами, костяными, оловянными и сделанными из раковин мидий. Клэр нравилось представлять наряды, которые раньше здесь кроили – крестильные платья, обшитые кружевом, свадебные платья, обшитые жемчужинками по корсажу, черные траурные платья из кашемира...

Джошуа пытается подтянуться и взгромоздиться на прилавок; подошвы шаркают по панели.

– Мне скучно! – тянет он, соскальзывая на пол. – Когда папа приедет?

Клэр выходит из-за прилавка, наклоняется, берет Джошуа на руки и сажает его на прилавок рядом с кассовым аппаратом.

– Он приедет примерно через... – она смотрит на часы, – через полчаса и заберет тебя. Ну а пока чем займемся?

– Расскажи, как я к вам попал, – приказывает он.

Клэр молчит и выжидательно смотрит на сына.

– Пожалуйста! – добавляет мальчик.

– Ладно, – соглашается Клэр, обнимая его и слегка покачивая. В последнее время она все чаще удивляется тому, как он вырос. Прямо не верится, что ему всего пять лет! Она утыкается носом ему в шею и вдыхает живительный аромат мыла «Ярдли», с которым он принимал ванну утром. Джошуа растет и начинает стесняться; теперь он не пускает ее в ванную, когда моется.

– Когда я принимаю ванну, смотреть могут только папа и Трумэн, потому что мы все мальчишки, – объясняет он.

Поэтому Клэр, пустив для него воду, выходит за дверь и садится на пол. Через каждые пять минут она кричит:

– Эй, как ты там?

Сейчас она несет Джошуа на мягкий плюшевый диван в углу. Рассказ о том, как Джошуа стал их сыном, – его любимый. Он может слушать его несчетное число раз.

– Прежде чем говорить о том дне, когда ты к нам попал, – начинает Клэр, – надо вспомнить другой день – когда мы впервые тебя увидели.

Джошуа теснее прижимается к ней и, как каждый день за последние пять лет, Клэр поражается, до чего он сладкий.

– Пять лет назад, в июле, мы с папой сидели на кухне за столом и соображали, что бы нам приготовить на ужин. Как вдруг зазвонил телефон.

– Звонила Дана, – бормочет Джошуа, теребя жемчужную сережку в ее ухе.

– Да, звонила Дана, – кивает Клэр. – Она сказала, что в больнице нас ждет чудесный маленький мальчик.

– Это был я. Это я ждал в больнице! – сообщает Джошуа Трумэну, который тоже приковылял к ним. – Женщина, которая меня родила, не могла обо мне заботиться, поэтому отнесла меня в пожарное депо, и пожарный нашел меня в корзине.

– Эй, кто из нас рассказывает, ты или я? – Клэр в шутку тычет сынишку в бок.

– Ты, ты. – Джошуа морщит вздернутый нос в притворном раскаянии.

– Ну ладно, можно рассказывать и вместе, – утешает его Клэр.

– И пожарные не знали, что со мной делать! – восклицает Джошуа. – Стояли-стояли, смотрели на меня и говорили: «Послушайте, да ведь там ребенок!» – Джошуа вскидывает руки вверх, и на его личике появляется забавно-серьезная гримаса.

– Ты стал для них сюрпризом, это уж точно, – кивает Клэр в знак согласия. – Пожарные вызвали полицию, полицейские позвонили Дане, Дана отвезла тебя в больницу и позвонила нам.

– А когда ты в первый раз взяла меня на руки, ты все плакала и плакала. – Джошуа хихикает.

– Да, – соглашается Клэр. – Я плакала, как младенец. Ты был самым красивым малышом на свете, и...

Они слышат, как открывается дверь и входит Джонатан. Его рабочие джинсы и футболка мятые, в пыли – он занимается реконструкцией и ремонтом зданий.

– Привет, ребята! – кричит он, отряхивая черные кудри от дождя. – Чем занимаетесь?

– Вспоминаем, как Джошуа к нам попал, – объясняет Клэр.

– А-а! – Джонатан расплывается в широчайшей улыбке. – Самый лучший день в нашей жизни!

– Мама плакала, – шепчет Джошуа, поворачиваясь к отцу и прикрывая рот рукой, как будто, если Клэр не увидит его рот, то и слов не услышит.

– Знаю, – шепчет в ответ Джонатан. – Я стоял с ней рядом!

– Папа тоже плакал. – Клэр с нежностью смотрит на своих мальчиков. – Мы привезли тебя домой, а через месяц судья сказал: «Теперь Джошуа официально Келби».

– А раньше кем я был? – немного обеспокоенно спрашивает Джошуа.

– Треххвостым барсуком, – поддразнивает Джонатан.

– Ты – желание, которое мы загадывали каждое утро, когда просыпались, и молитва, которую мы читали каждый вечер перед сном, – говорит Клэр, сглатывая слезы, как всегда ужасаясь при мысли, что Дана, сотрудница Департамента здравоохранения и социальных служб, в тот день набрала бы не их номер телефона.

– Ты стал Келби с первого дня, как только мы тебя увидели, – уверяет Джонатан, садясь на диван так, что Джошуа оказывается между родителями.

– Сэндвич Келби! – радуется Джошуа, начиная свою любимую игру. – Я арахисовое масло, а вы – хлеб!

– Нет, ты – ливерная колбаса, – поправляет Джонатан. – Колбаса с оливками, яичница с лимбургским сыром!

– А ты... – хохочет Джошуа. – Ты – сэндвич с индейкой и майонезом!

– А я люблю сэндвичи с индейкой и майонезом, – возражает Джонатан.

– Фу-у-у! – Джошуа высовывает язык.

– Фу-у-у! – соглашается Клэр.

Джонатан смотрит на нее поверх сынишкиной головы, и их взгляды встречаются. Оба они знают, чего им стоила вся эта история. Бесплодие, мучительное расставание с первым приемным ребенком. Тянувшая боль в сердце, разочарование. Их взгляды говорят: «Прошлое осталось в прошлом. Наш малыш с нами, а все остальное не важно».

Чарм

Чарм Таллиа толкает дверь «Закладки». В одной руке она сжимает список учебников, в другой – мобильник, на случай если Гас позвонит. Важно, чтобы отчим мог в любое время дозвониться до нее. Она знает, скоро настанет время, когда ей позвонят и сообщат, что Гас упал, что у него поднялась температура... или еще хуже. Дождь перестал, но Чарм все равно тщательно вытирает мокрые подошвы о коврик у входа в магазин.

Клэр дружески приветствует ее, как всегда. Чарм в первый раз пришла в «Закладку» несколько лет назад. Клэр всегда спрашивает, как ее успехи в колледже, где Чарм учится на медсестру, и как себя чувствует ее отчим.

– Не очень, – отвечает Чарм. – Патронажная сестра советует подумать о хосписе.

– Мне очень жаль, – говорит Клэр с непритворной грустью в голосе. Чарм опускает голову и роется в сумке. Всякий раз при напоминании о том, что Гас умирает, ее глаза наполняются слезами. Вот почему Чарм так тяжело и одновременно так легко возвращаться в «Закладку». Клэр Келби такая милая...

– Джошуа сегодня здесь? – спрашивает Чарм, оглядываясь в поисках мальчика.

– Вы с ним разминувшись. – Клэр как будто оправдывается. – Джонатан забрал его и увез домой.

– Ладно... передавайте ему за меня привет. – Чарм пытается скрыть разочарование. Она протягивает Клэр список учебников: – Почти все удалось купить с рук, подержанные... кроме вот этого, а он такой дорогой! – Чарм тычет пальцем в название. – Можно его как-то заказать?

– Сейчас посмотрю, – обещает Клэр. – Когда у тебя выпуск? Наверное, уже скоро.

– В мае. Жду не дождусь, – улыбается Чарм.

– Завтра я тебе позвоню и скажу, что удалось узнать насчет твоего учебника. Береги себя, ладно, Чарм? И помни, если тебе что-то понадобится, сразу звони.

– Спасибо! – снова говорит Чарм, хотя и понимает, что не станет просить Клэр ни о чем... разве что найти очередную книгу. Как бы Чарм ни восхищалась Клэр и ее близкими, как бы ей ни нравилось беседовать с ней, она уже и так слишком хорошо осведомлена о жизни Клэр. Если Клэр когда-нибудь случайно узнает, как много ей известно, их отношения уже не будут прежними.

Заехав в магазин и купив кое-какие продукты, Чарм переезжает на другой берег Друида, в городок под названием Кора, и спешит домой, проверить, как там Гас. Хотя ей даже самой себе не хочется в том признаваться, Гас день ото дня слабеет. Подъезжая к гаражу, она осматривает маленький домик, в котором живет с десятилетнего возраста. Гас всегда содержал дом в идеальном состоянии; приходится всматриваться повнимательнее, чтобы заметить признаки износа. И все же они есть. Краска на черных ставнях начинает выцветать и трескаться, а белый сайдинг не мешало бы помыть шлангом. Газон подстрижен аккуратно, но не так идеально, как это сделал бы Гас, будь он здоров. Некоторое время Чарм сама пыталась стричь газон по диагонали, как любит Гас, но, хотя он ни разу не сказал ей ни слова, она поняла, что несовершенство его раздражает. Наконец Чарм наняла стричь газон четырнадцатилетнего мальчишку-соседа. Но к своим клумбам Гас по-прежнему никому не позволяет притронуться. Здесь он и сейчас хозяйничает сам, хотя из-за его болезни ему все труднее ухаживать за цветами.

Чарм выходит из машины, берет сумки с продуктами и идет к двери черного хода. Она видит Гаса. Он стоит на коленях, спиной к ней, опустив голову. В первый миг ей кажется, будто он упал. Бросив сумки, она кидается к нему. Услышав ее шаги, Гас оборачивается,

медленно поднимается на ноги и дрожащей рукой подтягивает к себе маленький переносной кислородный баллон.

– Чарм, где ты была? – хрипит он.

Клетчатая рубашка болтается на исхудалом теле, брюки защитного цвета спадают с бедер. Он с трудом, морщась, снимает садовые перчатки и бросает их на землю. Свои густые черные волосы он гладко зачесывает назад; несмотря на то что лицо у него серое, а глаза ввалились, Чарм вспоминает, каким красивым мужчиной он был когда-то. Не зря ее мать продержалась с ним дольше, чем с остальными своими приятелями, даже вышла за него замуж. Когда Чарм была маленькой, она гордилась ими. Такая красивая пара! Ее мать, яркая блондинка, и симпатичный, всегда веселый и приветливый пожарный Гас.

Риэнн Таллиа прожила с Гасом четыре года – по мнению Чарм, для матери это мировой рекорд. Наконец матери надоело изображать счастливую семейку; она ушла от Гаса и развелась с ним. Чарм было десять, когда они все здесь поселились, и четырнадцать, когда мать решила, что дальше по жизни пойдет отдельно. Риэнн переехала совсем недалеко, на тот берег Друида. Вернулась в Линден-Фоллс. Детей она поначалу взяла с собой. Чарм хватило всего на несколько недель. Потом она среди ночи позвонила Гасу и попросила разрешения вернуться к нему. Гас сразу согласился. По доброте душевной он разрешил Чарм и ее брату переселиться к нему.

Теперь Гас тяжело болен, у него рак легких. Профессиональное заболевание пожарных. Ну и конечно, многолетнее курение сказалось. Около пяти лет назад, после того как Гасу поставили диагноз, он досрочно вышел на пенсию. Периодически он спрашивает Чарм, зачем та ухаживает за больным стариком. И Чарм неизменно отвечает: «Затем, что здесь мой дом. Мой дом – это ты...»

– Что ты, Гас, – беззаботно отвечает Чарм, которой не хочется, чтобы отчим видел, как она беспокоится, – я всего-то заехала в книжный магазин и купила кое-какие продукты.

Гас долго смотрит ей в глаза и спрашивает:

– Как малыш?

– Я его не застала, но Клэр говорит, что у него все хорошо. На следующей неделе идет в школу! Представляешь?

Гас качает головой:

– Нет, не представляю. Я рад, что у него все хорошо.

– Я купила тебе ватрушек, – говорит Чарм, не дожидаясь новых вопросов о Джошуа. Она протягивает отчиму пакет с чешской выпечкой, которую тот так любит. – Обещаю, когда-нибудь научусь печь их сама!

– Замечательно! – восклицает Гас, хотя Чарм прекрасно знает, что покупные ватрушки совсем не такие вкусные, как самодельные. Раньше Гас пек очень вкусные настоящие ватрушки по рецепту своей бабушки. Сейчас же он быстро устает и ему трудно стоять на ногах дольше десяти минут.

– Звонила твоя мать. – У Гаса срывается голос, и кажется, будто он старше своих пятидесяти лет.

Чарм не знает, то ли это из-за болезни, то ли из-за того, что звонок матери его расстроил.

Чарм редко разговаривает с матерью. Время от времени они пытаются наладить отношения, но ветречи обычно заканчиваются горькими слезами и взаимными упреками.

– Ей что-то надо? – мрачно спрашивает Чарм.

Они входят в кухню, и Чарм придвигает отчиму стул – ножки шумно царапают по выцветшему линолеуму в синий цветочек. Гас медленно опускается на сиденье. Он нетвердо держится на ногах, и Чарм все время боится, как бы он не упал. Вчера он споткнулся о замахившийся край коврового покрытия и упал. Ободрал колени и локти. Чарм пришлось

усаживать его, как маленького, промывать разбитые колени и заклеивать их пластырем. Тогда она и поняла: пора уговорить Гаса нанять сиделку, которая будет присматривать за ним, пока она в колледже или на практике в больнице.

– Надеюсь, она не заявлялась сюда? – спрашивает Чарм, в страхе широко распахивая глаза. Если мать действительно заезжала сюда, ей достаточно одного взгляда. Она сразу поймет, насколько серьезно Гас болен, и начнет кружить над ним, как гриф-стервятник. Гас небогат, но у него есть дом и машина. Риэнн всегда жалела, что не отсудила у него дом при разводе. Если мать узнает, что Гас обречен, она попытается наложить лапу на собственность бывшего мужа.

Гас качает головой; сейчас голова кажется слишком большой для его тела. За последние несколько месяцев он сильно исхудал.

– Нет, она хотела только поговорить. – Гас достает ватрушку из пакета и откусывает кусочек.

Чарм понимает, что он ест только ради нее: не хочет, чтобы она звонила врачу и жаловалась, что он морит себя голодом. Теперь он всегда съедает лишь по несколько кусочков.

– Ей, наверное, деньги нужны? – спрашивает Чарм, заранее зная ответ. Мать в своем репертуаре! Годами не объявляется, не шлет даже поздравительных открыток. И вдруг – раз! Звонит бывшему мужу как ни в чем не бывало. Разумеется, Риэнн хватается ума не звонить дочери.

– Нет, нет. – Гас словно оправдывается. – Она просто так, интересовалась, как мы живем.

– А про меня спрашивала? – недоверчиво осведомляется Чарм.

– Да. – Дрожащей рукой Гас медленно подносит ватрушку к губам. Лицо у него бледное. Видимо, утром он брился, но плохо – Чарм видит остатки щетины на шее. – Спрашивала, как у тебя дела, как учеба, какие новости.

– И что ты ей сказал? – почти со страхом спрашивает Чарм. Ей не нравится, когда мать интересуется подробностями ее жизни. Чем меньше она знает, тем лучше.

– Почти ничего, – жалким голосом отвечает Гас, и Чарм понимает: он до сих пор любит ее мать. Да и как ее не любить! Вот только сама Риэнн недостойна любви... Чарм искренне убеждена в том, что мать стоило бы прихлопнуть, как надоедливому комара. После их развода прошло много лет, но Гас все еще на что-то надеется. Он еще не переболел Риэнн, не изжил ее. – Я сказал, что у тебя все хорошо, что весной ты заканчиваешь колледж. Что ты славная девочка. – Лицо Гаса мрачнеет, как будто на него набегает тучка. – Конечно, она спрашивала, нет ли вестей от твоего брата. Я сказал, что несколько лет ничего не знаю о сукином сыне – да и знать не желаю!

– Представляю, как она обрадовалась! – улыбается Чарм. Брат всегда был любимцем матери. Его отец был единственным мужчиной, которого мать по-настоящему любила, но он, единственный из всех, сам ушел от Риэнн, оказавшись самым умным из всех.

Гас кладет ватрушку на стол и смотрит на Чарм. В его усталых голубых глазах отражается боль.

– Она сказала, что он звонил и оставил на ее автоответчике странное сообщение.

– Вот как, – с деланным равнодушием произносит Чарм. – Что за сообщение?

– Она не сказала. Она хочет встретиться с тобой и поговорить. Просит тебя перезвонить ей, – хрипло продолжает Гас.

– У тебя усталый вид, – говорит Чарм. – Может, приляжешь?

Гас не спорит, что говорит само за себя. Он медленно отодвигает стул от стола и неуверенно поднимается на ноги.

– Не забудь, вечером обещала зайти Джейн! – напоминает она.

Джейн, приходящая медсестра, которая обслуживает больных на дому, заезжает к ним почти каждый вечер. Чарм договорилась, что Джейн будет приезжать к ним, после того как Гас начал кашлять кровью и все больше пугался. Джейн измеряет ему давление, слушает легкие и попутно проверяет, хорошо ли Чарм за ним ухаживает. Гас всю жизнь был галантным кавалером; даже сейчас, вспомнив о приходе Джейн, он слегка оживает. Заправляет рубашку в брюки, причесывается. Из-за болезни кожа у него приобрела желтоватый оттенок, когда-то сильные руки превратились в прутики, но Гас по-прежнему прирожденный дамский угодник.

– Ах, Джейн! – Гас улыбается. – Моя любимая медсестра!

– Так-так! – восклицает Чарм в притворном негодовании. – Я думала, что твоя любимая медсестра – это я!

– Ты моя любимая будущая медсестра, – оправдывается Гас. – А Джейн – моя любимая дипломированная медсестра!

– Тогда ладно, – отвечает Чарм, идя следом за Гасом – вдруг отчим упадет. Она ходит за ним, как мамаша за беспокойным малышом. – Я только хотела все прояснить до конца. – Она помогает Гасу лечь, ставит на прикроватную тумбочку стакан с водой, проверяет, работает ли кислородный баллон.

– Чарм! – говорит Гас, укрывшись одеялом до подбородка. – Сегодня я поговорил еще кое с кем. – По тому, какой у него серьезный голос, она сразу понимает, что разговор был важным. – Я позвонил в хоспис...

– Гас, – перебивает она, – не надо... – Глаза у нее наполняются слезами. Она еще не готова к такому разговору.

– Я позвонил в хоспис, – решительно повторяет Гас. – Когда время придет, я хочу быть здесь, у нас дома, а не в больнице. Понимаешь?

– Сейчас еще рано... – начинает Чарм, но Гас ее останавливает:

– Чарм, малышка. Если хочешь стать медсестрой, придется научиться выслушивать больных до конца!

– Но ты не мой больной. – Чарм глотает слезы и опускает жалюзи, чтобы комнату не заливало полуденное солнце.

– Когда настанет время, ты сама позвони в хоспис. Номер я оставил рядом с телефоном.

– Хорошо, – соглашается она, больше для того, чтобы успокоить Гаса. Она еще не готова к тому, что Гас скоро умрет. Он – ее единственный родной человек. Он ей нужен.

Лицо Гаса кривится от усталости и боли.

– Тебе что-нибудь принести? Я скоро уезжаю в колледж, – говорит Чарм. Ей ужасно не хочется уезжать, и вместе с тем она испытывает облегчение.

– Нет. Полежу немного с закрытыми глазами. Я нормально себя чувствую. Езжай по своим делам, – говорит он.

Она стоит в полутемной комнате, рядом с кроватью Гаса, смотрит, как поднимается и опускается его грудь, слушает шипение кислородного баллона.

Что я буду делать без него? Куда пойду?

Клэр

Клэр и Джонатан не рассказывают Джошуа всех подробностей того дня, когда он к ним попал. Они не говорят, как Клэр пристально смотрела на Джонатана, как Джонатан положил локти на стол и закрыл голову руками. Как он колебался, когда Дана сообщила им о брошенном младенце. Как Клэр пришлось внушать себе: «Потерпи, он привыкнет». Как, наконец, когда Джонатан поднял голову, она увидела красные полумесяцы у него на лбу, в тех местах, где пальцы впились в кожу. Как Клэр тогда хотелось подойти к нему, нежно поцеловать каждый полумесяц.

– Только до тех пор, пока они не найдут для него другую приемную семью, Клэр, – без особой уверенности произнес Джонатан. – Понимаешь? Не будем загадывать надолго. Лучше не стоит... Еще одного раза я не переживу. – Он покачал головой, как будто сам себе не верил. – Не смогу заново пережить все то же самое, что и с Эллой. Так нельзя, невозможно! Мы привязываемся к ребенку, а его в конце концов отбирают! В чем смысл приемной семьи? Чтобы дети в конце концов возвращались к родителям.

– Я тоже, – прошептала тогда Клэр. – Я тоже еще не пришла в себя после Эллы. – Но Клэр все же понимала, что на сей раз биологическая мать не вернется, не отберет у них своего малыша. Бог не может быть таким жестоким после всего, что они пережили.

За год до того на другом конце штата, на замерзшем кукурузном поле, нашли мертвого новорожденного младенца. После этого сенат штата Айова быстро принял Закон о безопасном убежище, согласно которому родители получили право оставлять младенцев не старше двух недель от роду в больницах, полицейских участках и пожарных депо, не опасаясь уголовного преследования. Врачи в больнице сказали, что мальчику, которого подбросили в пожарное депо, около месяца; вначале Клэр очень боялась, что полиция отыщет мать ребенка. Она быстро смахнула слезы. Этот малыш, этот мальчик, которого они заберут домой, стал первым, кого оставили в месте, отвечающем требованиям Закона о безопасном убежище. Он станет их ребенком!

Когда Дана передала Джошуа на руки Клэр, она как будто исцелилась. Словно не было многочисленных выкидышей и нескольких операций. Боль потери ушла, превратилась в смутное воспоминание. Сбылось то, о чем они мечтали, чего ждали столько лет! Теперь у них есть чудесный, красивый маленький мальчик!

По пути домой из больницы они заехали в магазин за самым необходимым. Накупили подгузников, бутылочек, детских смесей. У самой кассы Клэр схватила с полки книгу с детскими именами. Наконец-то – наконец-то! – она сможет дать ребенку имя. Имена в книге перечислялись в алфавитном порядке; приводилось происхождение имени и его значение. Клэр решила, что у их малыша имя должно быть особенное. Раз уж она не даровала ему рождение, она подарит ему имя, которое что-то значит.

Клэр понравилось имя Кейд, но оно означало «круглый, мешковатый». Джонатану понравилось имя Сол, которое значило «выпрошенный у Бога». Да, вроде бы подходит, ведь они столько лет вымаливали его! Имя Холмс означало «тихая гавань», но Джонатану оно показалось нелепым; он уверял, что в школе мальчишки будут дразнить его Шерлоком. Клэр пролистала страницы, и взгляд ее упал на имя Джошуа. «Спасенный Богом».

– Джошуа! – произнесла она вслух, привыкая к имени. Клэр улыбнулась Джонатану и повернулась на сиденье, чтобы посмотреть на малыша, который станет ее сыном. – Джошуа, – повторила она чуть громче, и тут малыш, не просыпаясь, тихонько вздохнул. Довольный. Невредимый. Спасенный.

Чарм

С тех пор как Чарм стала ходить на практику в больницу Святой Изадоры, не бывает дня, чтобы она не вспоминала о малыше. Хотя она знает, что его любят и о нем заботятся, она не может пройти мимо желтой вывески «Безопасное убежище» над больницей, не испытав заново грусти и облегчения – как тогда, когда она отдала его. Правда, он ведь был не совсем ее. Откровенно говоря, больше она испытывает облегчение. Если бы она тогда не отнесла его в пожарное депо, наверное, ей бы не удалось окончить даже среднюю школу, не говоря уже о колледже. Кроме того, ее мать нашла бы способ так или иначе испортить малышу жизнь.

Чарм бежит по улице, застроенной домами из красного кирпича. Здесь находится студенческий городок. Маленький частный колледж Святой Анны помещается в центре Линден-Фоллс и окружен старинными домами и узкими улочками, мощенными булыжником. Правда, булыжник уже начинает крошиться. Выбившись из сил, она догоняет своих однокурсниц. Все спешат на лекцию по «Новейшим направлениям в теории и практике руководства медицинским персоналом». Софи, высокая, тощая девица, которая хочет работать в отделении детской онкологии, как раз настаивает на том, что у них с матерью телепатическая связь.

– Я серьезно, – настаивает Софи, когда они входят в аудиторию. – Стоит мне только подумать о маме, и через минуту она мне звонит!

– Ерунда, – фыркает Чарм. – Я тебе не верю! – Чарм смотрит на однокурсниц, ища у них поддержки, но все понимающе улыбаются, кивают и поддакивают:

– Верно, у нас с сестрой то же самое.

– Докажи! – говорит Чарм, скрещивая руки на груди и опираясь на стул.

– Пожалуйста! – Софи пожимает плечами, роется в сумке, достает телефон и кладет его на стол перед собой.

– Ну и что? – спрашивает Чарм.

– Ничего. Подождем. Она позвонит через минуту-другую, – отвечает Софи.

Чарм недоверчиво качает головой, но через несколько минут телефон Софи начинает вибрировать и прыгает по столу. Софи поднимает его и показывает всем надпись на дисплее: «Мама».

– Привет, мам, – говорит Софи в трубку. – Нет, ничего, просто подумала о тебе. – Она торжествующе улыбается Чарм.

Чарм потрясена, и вместе с тем ей грустно. Она не может вспомнить ни одного человека, с кем у нее была бы такая прочная связь. Уж точно не с матерью.

Риэнн всегда нужно быть в центре всеобщего внимания. Одной Чарм для нее недостаточно, как недостаточно и ее брата. И Гаса. Риэнн Таллиа вечно в поиске, вечно ищет для себя лучшей жизни. Во всяком случае, более увлекательной. Где сейчас ее брат, Чарм понятия не имеет. А отец, судя по всему, давно умер. Правда, в прошлом году у Чарм был приятель, который без конца ей названивал, но все дело было в его ужасной неуверенности в себе, а вовсе не в их телепатической связи и родстве душ.

А Гас? Возможно, такое родство у нее с Гасом. Это ведь он научил ее кататься на велосипеде, умножать дроби, это он пришел к ней на выпуск и сидел в зале, смахивая слезы, когда она поднялась на сцену за аттестатом.

Всему хорошему Чарм научилась у Гаса. Глядя на него, она понимает, что значит быть хорошим отцом, хорошим человеком. Одно она знает наверняка: когда она выйдет замуж и у нее будут дети, она будет рядом с ними каждый день. Она не бросит их, когда ей станет трудно, грустно или просто скучно.

Такое недоступно пониманию ее матери и брата.

Бринн

Сегодня начинается новый учебный год; хотя я знаю всех преподавателей и почти всех однокурсников, я волнуюсь. Знакомое чувство сдавливает грудь, как будто изнутри поднимается толстое облако пыли и оседает на груди. Я стараюсь дышать глубже, как велел доктор Моррис. Его совет помогает.

Жду не дождусь начала занятий; я выбрала курсы «Животные в обществе» и «Совместное воспитание хозяев и животных-компаньонов». Кроме того, мне нужна практика вне колледжа. Поскольку я уже добровольно работаю в приюте для животных, наверное, попрошу, чтобы меня взяли на лошадиную ферму. Я никогда не каталась верхом на лошади, но читала, что лошади давно помогают людям с расстройствами поведения, в том числе пищевого. Лошади помогают даже аутистам. Вопреки распространенному мнению, лошади невероятно умны. В конце девятнадцатого века жил конь по имени Красавчик Джим Ки. Он путешествовал по всей стране со своим дрессировщиком доктором Уильямом Ки. Красавчик Джим Ки различал монеты разного достоинства, умел работать на кассовом аппарате: выбивал нужную сумму и выдавал сдачу. А еще он произносил слова по буквам и называл время. Говорят, коэффициент умственного развития у него был как у шестиклассника. Не знаю, правда это или нет, но мне приятно думать, что так оно и было.

Вибрирует мой мобильник; чтобы достать его, приходится рыться в сумке. На секунду я пугаюсь – вдруг Эллисон у кого-то узнала мой мобильный номер, но я не сообщала его даже родителям, а бабушка ни за что меня не выдаст. Взглянув на дисплей, я улыбаюсь. Это моя подруга Мисси. Я открываю крышку и подношу телефон к уху.

– Привет, Мисси, как дела?

– Сегодня вечеринка. У меня, в восемь, – говорит Мисси.

– По какому случаю? – спрашиваю я, въезжая на стоянку колледжа.

– По случаю начала семестра. Придешь?

– Конечно! – Я хватаю с заднего сиденья сумку с учебниками и направляюсь к зданию ветеринарного факультета. – Я работаю до девяти, а потом сразу приеду.

С Мисси я познакомилась в ноябре, вскоре после того, как переехала в Нью-Эймери. У бабушки я поселилась в сентябре; первое время мне было очень грустно и одиноко. Два месяца я просидела в спальне в бабушкином доме, плакала, рисовала в дневнике и старалась не убить себя. Наконец бабушке все это надоело. Она больше не могла видеть меня в таком состоянии. Она вошла в комнату и села ко мне на кровать.

– Вставай, Бринн! – сказала она. – Пора начинать жить. – Я выглянула из-под одеяла, но ничего не ответила. Бабушка совсем не похожа на моего отца. Иногда мне не верится, что она произвела его на свет. – Я хочу кое-что тебе показать, – продолжала бабушка, срывая с меня одеяло.

– Что? – пробурчала я. Мне хотелось только одного: снова укрыться с головой и заснуть. Забыть о том, что я неудачница, ничтожество.

– Пошли, увидишь. – Бабушка протянула руку и помогла мне встать. Она затолкала меня в свою машину и повезла по улицам Нью-Эймери. Мы остановились у длинного, приземистого металлического строения. Я увидела ярко-красную вывеску «Приют для животных».

Я выпрямилась и повернулась к бабушке:

– Зачем мы сюда приехали?

– Пошли, покажу. – Она улыбнулась мне, и я нехотя последовала за ней. Нас встретили дружелюбный черный лабрадор и девочка моих лет в красном жилете. На бедже у нее было написано имя: «Мисси». Она стояла за высоким прилавком и гладила маленького рыжего

котенка. Я услышала приглушенный лай и скулеж собак, которых держали в вольерах в противоположной части строения.

– Здравствуйте, – весело поздоровалась девочка. – Чем я могу вам помочь?

Бабушка посмотрела на меня:

– Бринн, чем она может тебе помочь?

– Нет, серьезно! – Я смерила бабушку недоверчивым взглядом. – Бабушка, ты серьезно?!

– Иди осмотришься. – Она кивком указала на вольеры. – Уверена, кто-то сейчас очень ждет тебя. Иди и найди его!

– Пошли, – сказала Мисси. – Я тебя провожу! – Она открыла дверь, и меня чуть не оглушил громкий лай. Длинная узкая комната была заставлена клетками, в которых содержались собаки самых разных пород – гончая, английский сеттер, лабрадоры и множество метисов. Я остановилась перед комочком рыжевато-каштанового меха, который смотрел на меня лучистыми жалобными глазами.

– Он какой породы? – спросила я.

– Это Майло. Помесь немецкой овчарки и чау-чау. Ему два месяца. Его нашли на проселочной дороге к югу от города. Бедняжка страдал от голода и жажды. Очень деятельный малыш, и к тому же он просто прелесть, – ответила Мисси.

Я посмотрела на бабушку.

– Можно его взять? – спросила я, не смея надеяться. Ему всего два месяца, а лапы уже огромные, и потом, Мисси сказала, что он очень деятельный... – По-моему, я ему нужна.

– Конечно, Бринн. Он твой, – ответила бабушка, обнимая меня за талию.

Мисси помогла мне устроиться волонтером в приют для животных; она же сообщила о курсе подготовки воспитателей животных-компаньонов в местном двухгодичном колледже. До сих пор не понимаю, почему хорошенькая, веселая и независимая Мисси подружилась с такой тихоней и занудой, как я. Но я рада, что у меня такая подруга. Помню, в тринадцать лет мама отправила меня на неделю в тот же футбольный лагерь, куда ездила и Эллисон. В футбол я играла ужасно и позорилась всякий раз, как мне пасовали мяч. Всю неделю Эллисон делала вид, будто она меня не знает. Всякий раз, как я пыталась с ней заговорить, когда присоединялась к группке ее подруг, она меня игнорировала. Когда я наконец не выдержала и громко разрыдалась, как маленькая, Эллисон закатила глаза и захохотала. До самого возвращения домой я просидела в домике, притворившись, будто вывихнула лодыжку.

Какое облегчение, что у меня есть подруга – тем более такая, которая любит животных, как и я. Я кидаю телефон в сумку, нащупываю флакон с лекарством, которое принимаю весь последний год. Сегодня я еще не приняла таблетку. И вчера тоже. Мне все лучше. Я чувствую себя сильнее. Даже весть о том, что Эллисон вышла на свободу, не тревожит меня так, как встревожила бы еще год назад.

Наверное, с лекарствами пора завязывать. Наверное, я уже готова жить самостоятельно.

Эллисон

Я смотрю на куклу, а она смотрит на меня своими безжизненными глазами. У меня кружится голова. Прошло пять лет, один месяц и двадцать шесть дней.

Сейчас ей было бы пять лет, или шестьдесят один месяц, или двести шестьдесят девять недель, или тысяча восемьсот восемьдесят три дня, или сорок пять тысяч сто девяносто два часа, или два миллиона семьсот одиннадцать тысяч пятьсот двадцать минут, или сто шестьдесят два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча двести секунд. Я все время веду подсчет.

У многих женщин, сидевших вместе со мной в Крейвенвилле, были дети. Некоторые даже рожали за решеткой. Помню, я бегала круг за кругом по тюремному двору; теннисные туфли глухо били по цементу, грудь сдавливало от духоты.

– Куда бежишь, детоубийца? От себя не убежишь! – говорил кто-то.

Я слышала хриплый смех, но ни на кого не обращала внимания. Никто не разговаривал со мной; только иногда обзывали детоубийцей, сукой или хуже. Все смотрели сквозь меня, как будто я была соткана из отвратительного воздуха в нашем тюремном блоке. И ведь многие из них сами были убийцами: они убили мужей, приятелей или застрелили кассира во время ограбления магазина. Но я хуже. Беспомощная малышка всего нескольких минут от роду была брошена в реку; ее унесло течением и разбило о берег.

Женщины в «Доме Гертруды» ничем не отличаются от женщин в Крейвенвилле. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой, как сейчас. Знаю, как тяжело пришлось родителям. На их глазах я стремительно упала с пьедестала, и упала очень низко. Сейчас я хочу только одного: чтобы они приехали меня повидать. Я так давно не держала за руку маму, не обнимала папу. Не слышала смеха сестры. Правда, в нашей семье не допускались «телячьи нежности», но иногда, сосредоточившись, я вспоминаю, как отец гладил меня своей большой, сильной рукой по голове. Иногда, закрыв глаза, я представляю все таким же, как раньше – до того, как все пошло наперекосяк. Я представляю, что вернулась в школу, бегаю на соревнованиях по легкой атлетике, стараюсь перекрыть собственный рекорд, сижу у себя в комнате, решаю уравнения, помогаю маме готовить ужин, болтаю с сестрой...

Вся моя жизнь была расписана заранее. Я знала, что сдам вступительные экзамены в колледж на «отлично», буду играть в волейбольной команде Университета Айовы или Университета штата Пенсильвания, четыре года проучусь в колледже, где буду специализироваться на юриспруденции, а потом пойду на юридический факультет. Будущее представлялось мне ясным и четким. Теперь все пропало. Кончено навсегда. Из-за парня и беременности.

С Девин я познакомилась, когда лежала в больнице под капельницей. Она объяснила, что меня обвинят в убийстве при отягчающих обстоятельствах и угрозе жизни ребенка.

– Когда девочка упала в реку, ты думала, что она мертва? – спрашивала она, расхаживая передо мной туда-сюда. Она никак не могла успокоиться. А мне тогда хотелось одного: свернуться калачиком и умереть. Но Девин постоянно теребила меня, заставляла снова и снова вспоминать все, что случилось.

– Конечно, – сказала я. – Конечно, я тогда думала, что младенец мертв.

Она крутанулась на каблуках.

– Никогда не называй ее «младенцем». Поняла? – строго спросила она. – Называй ее «малышкой» или «девочкой», но только не «младенцем» – это слишком безлично. Тебе ясно?

Я кивнула.

– Я в самом деле думала, что девочка уже мертва, – сказала я, отчаянно желая себе поверить, но понимая, что не произношу ни слова правды. Судебно-медицинская экспертиза уже показала, что девочка была жива...

Потом Девин потребовала, чтобы я признала себя виновной в непредумышленном убийстве, преступлении средней тяжести, которое карается тюремным заключением сроком на пять лет, и в угрозе жизни ребенка, за которое меня могли бы посадить лет на пятьдесят, а то и больше. Девин уверяла, что столько мне не дадут ни за что. До суда присяжных дело так и не дошло. Мне не пришлось рассказывать о том, что произошло в ту ночь. Впрочем, подробностями страшной ночи никто как будто и не интересовался. По-моему, я напоминаю всем кого-то знакомого. Сестру, дочь, внучку. Может, даже их самих. В общих чертах всем было известно, что случилось. И всем этого было достаточно. Девин оказалась права. В конце концов меня приговорили к десяти годам в Крейвенвилле. Хотя в то время приговор звучал ужасно, десять лет все же лучше пятидесяти пяти, которые мне угрожали. Я спросила Девин, почему срок такой небольшой.

– Причин много, – ответила Девин. – Тюрьмы переполнены, обстоятельства преступления... В общем, Эллисон, они договорились о десяти годах.

Месяц назад Девин навестила меня в тюрьме. Я бегала по двору; в июльскую жару бетон плавился. Я чувствовала, как жар проникает сквозь подошвы теннисных туфель, сквозь носки. Тяжело дыша, я смотрела, как Девин стремительно приближается ко мне. На ней был серый костюм, который она носит как форму, и туфли на высоком каблуке. Я ни разу в жизни не носила туфли на высоком каблуке, ни разу не была на танцах в школе, так и не побывала на выпускном балу...

– Эллисон, хорошая новость! – сказала она мне вместо приветствия. – Твое дело передано в комиссию по условно-досрочному освобождению. На следующей неделе тебя вызовут на заседание.

– Условно-досрочное освобождение? – Я застыла, точно громом пораженная. – А ведь прошло всего пять лет! – Я даже думать не смела о том, что могу выйти раньше срока.

– Учитывая твоё примерное поведение и шаги, предпринятые тобой к исправлению, ты подходишь для условно-досрочного освобождения. Разве не здорово? – Она смерила мое озабоченное лицо пытливым взглядом.

– В самом деле, хорошая новость, – ответила я – в основном потому, что именно это она хотела от меня услышать. Как я могла объяснить ей, что, привыкнув к заключению, к ужасной еде, к зверским условиям, примирившись с тем, как и почему я попала в тюрьму, я в самом деле обрела покой? Мне не нужно было планировать будущее. В тюрьме все решали за меня. Меня ждали десять долгих лет простого существования.

– Нам нужно подробно обсудить то, о чем тебя, скорее всего, спросят на комиссии. Самое важное, чтобы ты выразила раскаяние.

– Раскаяние? – переспросила я.

– Раскаяние, сожаление, – сухо пояснила Девин. – Ты должна убедить их в том, что сожалеешь о своём поступке. Если ты этого не сделаешь, тебя ни за что не освободят досрочно. Ты можешь так сказать? Можешь выразить раскаяние в том, что бросила новорожденную дочь в реку? – спросила она. – Ты ведь раскаиваешься, разве не так?

– Да, – не сразу ответила я. – Я могу сказать, что раскаиваюсь.

И я сказала. Я сидела за столом; члены комиссии перечитывали мое дело. Меня похвалили за хорошее поведение. Я работала в тюремной столовой, заочно окончила среднюю школу и набрала достаточное количество баллов для поступления в колледж. Члены комиссии выжидательно смотрели на меня.

– Мне жаль, – сказала я. – Мне очень жаль, что я причинила боль своей малышке, и мне очень жаль, что она умерла. Я совершила ошибку. Ужасную ошибку... мне хотелось бы повернуть время вспять!

Родители на слушание не приехали; я боялась, что из-за этого меня не освободят. Уж раз мои родители не пожелали приехать и поддержать меня, значит, рекомендовать меня к условно-досрочному освобождению ни в коем случае нельзя. Но Девин велела мне не беспокоиться; с членами комиссии беседовала бабушка, и меня, скорее всего, освободят.

– Главное – твое поведение в тюрьме и то, что ты встала на путь исправления. – Девин оказалась права. Она всегда права. Комиссия по условно-досрочному освобождению приняла единогласное решение освободить меня.

За ужином я знакоюсь с соседкой, Би, героиновой наркоманкой, которая проходит курс реабилитации. За столом нас всего пять. Остальные работают или занимаются другими видами деятельности, одобренными комиссией. Мне интересно узнать, кем работают мои соседки, – очень хочется поскорее начать зарабатывать хоть немного, – но я боюсь спрашивать о чем-либо и вообще подавать голос. Все шарахаются от меня как от зачумленной. Кроме Би, конечно. Ей как будто все равно, кто я и что совершила. А может, она еще не слышала самые отвратительные подробности. У Би худое, рябое лицо наркоманки и тяжелые черные глаза, которые как будто видели и ад, и кое-что похуже. А еще у нее сильные руки; похоже, она способна из кого угодно выбить дурь. Поэтому с Би предпочитают не связываться. Конечно, в «Доме Гертруды» любое насилие под запретом. Тем не менее Би охотно рассказывает всем о своем первом дне в «Доме Гертруды».

– Две дамы поспорили, чья очередь звонить по телефону. Кстати, после этого здесь специальный список завели. И вот одна – она отсидела за растрату – как врежет второй по морде телефоном! – Би весело смеется. – Кровищи было! И зубы по всей гостинной... Помнишь, Олин? – спрашивает она, тыкая вилкой в зеленую фасоль.

– Еще бы не помню, – сухо отвечает Олин. – Не очень-то приятное было зрелище. Пришлось вызвать полицию.

– Ага, а меня, из-за того, что я была новенькой, заставили вытирать кровь и сметать зубы. – Би передергивает.

– Да ладно тебе, Би, – ласково поддразнивает Олин. – Я тебе помогала!

После ужина и мытья посуды я пытаюсь снова дозвониться родителям и Бринн. Никто не отвечает. Я оцепенело сижу на диване с телефоном в руке и слушаю длинные гудки. Олин входит, мягко отнимает у меня телефон и сообщает, что до семи я могу делать что хочу, а в семь у нас собрание – так сказать, сеанс групповой терапии. Поднявшись в свою комнату, я нисколько не удивляюсь, найдя в ведре с водой еще одну изуродованную куклу. Я сглатываю подступивший к горлу комок; в груди закипает гнев. Как они смеют осуждать меня – ведь и сами не ангелы! Мощным пинком – удар у меня отработан, даром я столько лет играла в футбол, – я переворачиваю ведро. Грохоча, оно катится по деревянному полу. У моих ног собирается лужа воды. Я слышу шаги на лестнице; по коридору шаркают чьи-то кроссовки. Я что было сил захлопываю дверь.

Через несколько минут я слышу стук.

– Уходите, – злобно говорю я.

– Эллисон! – Это Олин. – Что с тобой?

– Ничего... Я хочу побыть одна, – отвечаю я чуть мягче.

– Можно мне войти? – спрашивает Олин.

Мне хочется ответить «Нет!», вылезти в окно и убежать, но я не могу пойти домой, не имею права покидать «Дом Гертруды».

– Эллисон, открой, пожалуйста, дверь!

Я приоткрываю дверь и вижу зеленые глаза Олин.

– Ничего со мной не случилось, – повторяю я, но вода из ведра разлилась лужей у ног и вытекает в коридор.

Олин молчит, только смотрит на меня снизу вверх своими все понимающими глазами. Наконец я выпускаю ее. Олин замечает перевернутое ведро, куклу, лужу воды – и вздыхает.

– Мне очень жаль, Эллисон. Дай им время привыкнуть. Не скандаль, спокойно делай свое дело, и скоро к тебе начнут относиться, как ко всем остальным. – Наверное, она замечает мое перевернутое лицо, потому что спрашивает: – Хочешь, я подниму этот вопрос на вечернем собрании?

– Нет, – решительно отвечаю я. Я понимаю: из открытого противостояния с соседками ничего хорошего не выйдет.

– Схожу за тряпкой. – Олин хлопает меня по плечу и оставляет наедине с моими мыслями.

На ближайшее время планов у меня немного. Ближайшие полгода надо перетерпеть. Дважды в месяц отмечаться у инспектора комиссии по УДО, работать и заниматься своими делами. И все же становится ясно: мои соседки не намерены облегчать мне жизнь. Они ненавидят меня за то, что я совершила. Считают себя лучше меня. Думают, что у них-то имеются веские поводы, вынудившие их сделать то, что они сделали. Они нарушили закон потому, что их заставили дружки, или потому, что у них было трудное детство. А что же я? У меня были прекрасные родители, прекрасное детство, прекрасная жизнь. Мне нет оправдания.

Олин возвращается и вручает мне стопку тряпок.

– Тебе помочь?

Я качаю головой:

– Нет, спасибо. Сама справлюсь.

И все же Олин заходит в комнату, забирает ведро и куклу, выходит и тихо прикрывает за собой дверь. Я вытираю воду с пола и плюхаюсь на нижнюю койку. Стараюсь закрыть глаза, но всякий раз, как смыкаются веки, я вижу одно: пустые, мертвые глаза куклы.

Когда я вспоминаю ту ночь, то помню, что девочка не плакала – как показывают в кино или по телевизору. Сначала мать стискивает зубы и стонет, тужится, стараясь вытолкнуть ребенка. А потом ребенок появляется на свет и громко плачет, словно злится, что его достали из теплого, полутемного аквариума, извлекли в яркий, холодный мир. Такого плача я ни разу не услышала.

Я видела ужас в глазах Бринн, когда она протягивала мне малышку. Я покачала головой. Мне не хотелось к ней прикасаться. Дрожащими руками Бринн перерезала пуповину и осторожно уложила девочку на грудь тряпок в углу спальни.

– Эллисон, тебе нужно к врачу, – сказала она. Голос у нее сел от волнения; она отбросила с моего лба потные волосы. Я ужасно замерзла; дрожь била меня так, что стучали зубы. Бринн покосилась на тихую, молчаливую девочку в углу и сказала: – Надо кого-то вызвать...

– Нет, нет! – повторяла я, стараясь прикрыть ноги. Внезапно я устыдилась своей наготы. Я старалась сдерживаться, говорить не стуча зубами. Я понимала: если я сдамся, Бринн просто рассыплется на куски. – Нет! Мы никому ничего не скажем. Никто не должен знать... – Догадываюсь, я говорила холодно, даже жестоко. Но, повторяю, до того дня вся моя жизнь была расписана по пунктам: произнести прощальную речь при выпуске, получить стипендию от федерации волейбола, поступить в колледж, потом на юрфак... Кристофер был ошибкой; еще большей ошибкой стала беременность. Мне нужно было одно: чтобы Бринн сохраняла ясную голову, чтобы она со мной согласилась.

– Ах, Элли! – воскликнула Бринн. Подбородок у нее дрожал, по лицу бежали слезы. Ей с трудом удавалось держаться. – Я вернусь через несколько минут, – сказала она, заботливо укрывая меня одеялом. – Только выброшу простыни.

Мне хотелось спать – ох, как ужасно хотелось спать! Хотелось закрыть глаза и исчезнуть.

Руками я с трудом оттолкнулась от влажной постели, медленно спустила ноги на пол и едва удержалась от крика – такая жгучая боль пронзила меня между ног. Я дождалась, пока боль немного утихнет, встала, схватившись за край прикроватной тумбочки, чтобы не упасть. Посмотрела в дальний угол комнаты, куда Бринн положила девочку. Я сказала себе: я смогу. Я должна!

Выпрямившись, я опустила голову и увидела у себя на бедрах пятна цвета ржавчины. Бринн пыталась как могла вытереть меня, но кровь продолжала идти, и я застонала. Сколько крови! В углу я увидела груды полотенец, в которые Бринн завернула девочку. Она казалась такой далекой. Надо одеться и прибраться за собой. Скоро стемнеет, и потом, родители могут вернуться раньше. Надо срочно что-то решать... Дождь барабанил по крыше; мне показалось, будто я слышу шаги Бринн внизу. Потом за ней захлопнулась сетчатая дверь. Я знала, что делать и как поступить с девочкой. И тогда получится, что ее здесь и не было, что она не существовала. Потом я вернусь в комнату, приберу и на следующие несколько дней приворюсь, будто у меня грипп. И тогда все снова вернется в обычное русло. Иначе и быть не может!

Но тот ужас все не кончался и не кончался. Он прирос ко мне, к Бринн, даже к родителям, как какая-то злокачественная опухоль. Мы никогда от него не освободимся! Я начинаю плакать. Всю жизнь я всегда поступала правильно. И вот – достаточно одной ошибки, и моя жизнь кончена. Одна ошибка! Так нечестно!

Клэр

Входя в старинный особняк в викторианском стиле, который они с Джонатаном купили и отремонтировали двенадцать лет назад, Клэр напоминает себе: в ближайшие дни надо позвонить Чарм, узнать, как у нее дела. За много лет она привыкла к Чарм, даже полюбила эту полненькую девочку с тихим голосом, которая обожает книги по самообразованию. Сначала она купила «Последствия развода», и Клэр узнала, что Чарм с десяти лет живет у Гаса, своего отчима, после того, как ее родная мать развелась с ним и уехала. Потом Чарм купила книгу «Братья и сестры: родство на всю жизнь» и рассказала, что много лет не видела старшего брата, но ей хочется подготовиться на тот случай, если он вернется. Когда Чарм решила поступать в колледж, она принесла целый список учебников. Клэр узнала, что Чарм больше всего на свете хочет стать медсестрой и что у ее отчима рак легких. В «Закладке» Чарм купила книги для подруг; своему первому приятелю она подарила книгу о бейсболе.

Однажды она даже купила книгу Майи Энджелу «Мать: колыбель, которая меня качает» для своей матери, с которой она пыталась наладить отношения.

– Она ничего не поняла, – признавалась Чарм потом в разговоре с Клэр. – Решила, что я над ней издеваюсь, потому что подарила ей книгу стихов, и упрекаю ее в том, что она плохая мать. Я ничего не могу ей объяснить!

Девочка призналась в этом с такой грустью в голосе, что Клэр невольно похвалила себя за то, что не устает повторять Джошуа, как она его любит. И хотя она тоже не всегда идеальная мать – так, недавно по ошибке обругала Джошуа за то, что тот якобы скормил Трумэну все конфеты, подаренные на Хеллоуин, – она уверена, что Джошуа никогда в жизни не усомнится в том, что она его любит.

Джошуа она находит в гостиной. Мальчик через всю комнату бросает Трумэну теннисный мяч, а тот лениво виляет хвостом и не двигается с места.

– Возьми его, Трумэн! – кричит Джошуа. – Возьми мяч! – Трумэн встает и, ковыляя на кривых ножках, выходит из комнаты. – Трумэн! – разочарованно звенит Джошуа.

– Он вернется, – говорит Клэр, поднимая с пола мяч и отдавая его сыну. – Не волнуйся.

– Недавно по телику показывали бульдога по кличке Тайсон. Он умеет ездить на скейтборде! – сообщает Джошуа, теребя замахрившийся край шортов. – А Трумэн даже за мячиком не бежит!

– Зато он умеет много другого, – говорит Клэр, напряженно соображая, какие у их пса имеются достоинства.

– Что, например? – недоверчиво спрашивает Джошуа.

– Может съесть целый батон хлеба за три секунды, – говорит Клэр. Похоже, такой рекорд не производит на Джошуа особого впечатления. Клэр вздыхает и садится на пол рядом с сынишкой. – Ты ведь знаешь, что Трумэн – герой? – спрашивает она. Джошуа смотрит на нее скептически. – Когда ты у нас появился, ты был очень маленький.

– Помню, – глубокомысленно отвечает Джошуа. – Шесть фунтов.

– Однажды ночью – ты прожил у нас уже неделю – ты спал у себя в кроватке. Мы с папой так устали, что заснули на диване, хотя было всего половина восьмого вечера.

Джошуа смеется:

– Вы уснули в полвосьмого?!

– Да, – кивает Клэр и берет сына за руку, дивясь тому, как быстро он утрачивает младенческую пухлость. Пальцы у него длинные, суженные к кончикам; на долю секунды она задумывается, в кого они у него такие. В биологического отца или в биологическую мать? – Когда ты был совсем маленький, ты плохо спал; всякий раз, как ты засыпал, мы тоже засыпали. Ну вот, мы мирно спали на диване и вдруг услышали, как лает Трумэн. Папа пытался

выпустить его на улицу, в туалет, но Трумэн не выходил. Папа стал гоняться за ним по всему дому, но он все бегал кругами и лаял, лаял! Наблюдать за ними было довольно смешно. – Мать и сын улыбаются, живо представив, как сонный Джонатан гоняется за Трумэном. – Наконец Трумэн взбежал на второй этаж и остановился. Он лаял до тех пор, пока мы не поднялись за ним. Когда мы поднялись на площадку, он побежал в твою комнату. Мы все шептались: «Ш-ш-ш, Трумэн, разбудишь Джошуа!» А он продолжал лаять. И вдруг мы с папой поняли: что-то случилось. Что-то очень плохое. Ведь от такого шума ты давно должен был проснуться.

Джошуа морщит лоб, задумавшись.

– Я не проснулся?

– Нет, не проснулся. – Клэр вздрагивает при ужасном воспоминании и сажает сынишку себе на колени.

– Почему? – спрашивает он, снимая с ее пальца обручальное кольцо и надевая на свой большой палец, двигая его и наблюдая за тем, как переливаются грани бриллианта.

– Папа включил свет. Ты лежал в кроватке и как будто спал, но на самом деле ты не дышал!

Джошуа перестает играть с кольцом, но молчит.

– Папа выхватил тебя из кроватки так быстро, что, наверное, от испуга дыхание вернулось к тебе, потому что ты тут же заплакал.

– Уф-ф-ф! – Джошуа выдыхает с облегчением и снова начинает вертеть кольцо.

– Вот именно – «уф-ф-ф»! – с чувством произносит Клэр. – Трумэн спас тебя. Так что... пусть он и не умеет кататься на скейтборде, он у нас особенный!

– Да, точно, – бормочет Джошуа. – Пойду извинюсь перед ним. – Он надевает кольцо матери на палец, прыгивает с ее колен и бежит на поиски Трумэна.

Клэр умолчала о том, как долго тянулось время, когда они с Джонатаном увидели посиневшего, бездыханного мальчика, и как ей показалось, будто прошла целая вечность, прежде чем он сердито закричал. Тогда она сама перестала дышать, а в голове крутилось только: «Неужели я так скоро его потеряла? Неужели Бог передумал?» И только когда в его крошечные легкие снова начал поступать воздух, она тоже вздохнула свободно.

Клэр медленно встает на ноги. Возраст дает о себе знать. Она не забывает, что ей уже сорок пять и ни на секунду меньше. Когда Джошуа отпразднует десятый день рождения, ей будет пятьдесят. Когда ему будет сорок, ей исполнится восемьдесят. Материнство – самое тяжелое, самое страшное, самое чудесное и сладкое бремя. После того как в ее жизнь вошел Джошуа, она больше всего радуется, когда он зовет ее мамой и когда они с Джонатаном чем-то занимаются вдвоем. Отец и сын вместе рассматривают журналы, посвященные ремонту и дизайну, они оба обожают смотреть передачу «Старый дом». Клэр невольно улыбается, вспомнив: когда Джошуа как-то спросили, кем он хочет стать, когда вырастет, мальчик ответил: дизайнером и телеведущим Бобом Виллой или папой. Когда ее муж и сын вместе зачищают, ошкуривают и покрывают лаком доски, ремонтируют каминные полки, шкафы, перила, когда Джонатан учит Джошуа забивать гвозди или ввинчивать шурупы, сердце ее наполняется гордостью.

Хотя Джошуа – их единственный ребенок, Клэр понимает, что он во многом отличается от других детей. Очень долго она считала сынишку просто мечтателем. У него в голове столько всяких замыслов, творческих идей, что он часто не слышит с первого раза, когда к нему обращаются. Бывает, приходится несколько раз окликать его; Джошуа как будто понимает, что от него хотят, но почти никогда не спешит выполнить просьбу. Иногда он как будто переносится в другой мир; сидит и смотрит в одну точку, думая непонятно о чем. Приходится несколько раз ласково окликать его, чтобы он спустился с небес на землю. Джошуа как будто окружен неким буфером, который защищает его от грубости окружающего мира.

Без него, считает Клэр, мальчик был бы совсем слабеньким и ранимым. Клэр не знает, что происходит с сынишкой в такие минуты. Может быть, сказываются последствия тяжелых родов, кислородного голодания? А может, он вспоминает что-то ужасное, произошедшее с ним до того, как он попал к ним. Ей очень хочется, чтобы Джошуа стал более открытым и доверчивым, но она боится, что их с Джонатаном любви для этого недостаточно.

Клэр пробегает пальцем по фотографиям на придиванном столике. На них запечатлены все важные события в их жизни: день, когда они принесли Джошуа домой, день, когда он официально стал их сыном, первый раз, как он отведал пюре из кабачка, его первое Рождество. Каждый вечер Клэр мысленно благодарит девушку, которая пять лет назад оставила Джошуа в пожарном депо. Благодаря ей у них с Джонатаном есть сын. Иногда она думает о биологической матери Джошуа. Кто она – местная, из Линден-Фоллс, или приехала издалека? Совсем молоденькая девчонка, которая перепугалась и не знала, что делать с ребенком, или зрелая женщина, у которой уже были дети и которая понимала, что прокормить еще одного она не в состоянии? Может, у Джошуа где-то есть похожие на него братья и сестры? А если его мать – наркоманка? Или ее изнасиловали... Собственно говоря, такие ужасные подробности Клэр не интересуют. Она благодарна биологической матери Джошуа за то, что та предпочла отдать ребенка. В результате ее альтруистического или, наоборот, эгоистического поступка – зависит от того, как посмотреть, – Клэр получила все.

Бринн

В однокомнатную квартирку Мисси, которую она снимает еще с двумя девочками, набилась целая толпа. Кроме Мисси, я здесь никого не знаю; она сидит на диване и обнимается с каким-то парнем. Я неуклюже топчусь в углу, стараясь не смотреть, как они самозабвенно целуются, как он языком раздвигает ей губы, как по-хозяйски положил руку ей на блузку. Я пью вино из стакана, который кто-то сунул мне при входе, и радуюсь, потому что на меня постепенно наваливается приятное оцепенение. Вообще-то мешать алкоголь с теми таблетками, которые я принимаю, нельзя, но сегодня можно – таблетки я не принимаю уже несколько дней.

Ко мне подходит мальчик со смутно знакомым лицом – наверное, мы встречались в колледже.

– Привет! – громко говорит он, стараясь перекрыть бьющую по ушам музыку.

– Привет! – кричу я, мысленно порицая себя за скудость навыков светского общения.

Он невысокий, но все равно выше меня; белобрысые волосы, намазанные гелем, стоят торчком.

– По-моему, я тебя знаю! – говорит он, наклоняясь ко мне. От него приятно пахнет слабоалкогольным коктейлем.

– Да? – беззаботно говорю я, как будто такое со мной случается каждый день. Прикладываясь к стакану и с удивлением замечаю, что он пуст. Мне кажется, что кожа отходит у меня от щек, и я незаметно трогаю себя, чтобы убедиться, что щеки на месте.

– Вот, возьми у меня. – Он галантно обтирает горлышко бутылки футболкой. У него на носу россыпь темных веснушек; мне хочется дотронуться до них пальцем и пересчитать. У меня кружится голова; чтобы не упасть, приходится прислониться к стене.

– Спасибо, – говорю я, беря у него бутылку и отпивая глоток – а все потому, что я не знаю, что еще сказать.

– Я Роб Бейкер, – говорит он, широко улыбаясь.

– Рада познакомиться. – Я улыбаюсь в ответ. – А я Бринн.

– Знаю, – отвечает он. – Ты Бринн Гленн.

Моя улыбка делается шире. Он знает, как меня зовут!

– Да, – отвечаю я кокетливо и, пошатываясь, шагаю к нему. Интересно, приятно ли с ним целоваться? Чувствовать во рту его язык?

– Я из Линден-Фоллс, – говорит он, и сердце екает у меня в груди. – Мы с вами ходили в одну церковь. – Я заранее знаю, что будет дальше. Он подошел ко мне совсем не потому, что увидел меня в университетском городке и я ему понравилась. – Ведь Эллисон Гленн – твоя сестра, да? – Я не могу ответить. – Эллисон твоя сестра, да? – повторяет он. Я замечаю, как он косится через плечо на группу своих приятелей; те откровенно глазят на меня.

– Нет, – отвечаю я и по выражению его лица понимаю: он знает, что я лгу. – Никогда о ней не слыхала. – Я смотрю через его плечо, как будто ищу кого-то.

– Мы ходили в одну церковь. Наши мамы вместе работали на благотворительной ярмарке. Ты ведь Бринн Гленн! – с нажимом повторяет он.

– Ничего подобного. Ты ошибся. – Я с силой пихаю ему бутылку, отчего содержимое расплескивается по его футболке, и бегу к выходу. Меня шатает; я с трудом проталкиваюсь между потными телами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.